

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации



Дмитрий
Мамин-Сибиряк

ЗОЛОТО

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Золото (сборник)

«Азбука-Аттикус»

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Золото (сборник) / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Азбука-Аттикус»,

Д. Н. Мамин-Сибиряк родился и большую часть жизни прожил на Урале. В историю русской литературы он вошел прежде всего как автор «уральских» романов, которые и принесли ему широкую известность. Все в них казалось необычным для читателей: и сам колорит сибирской жизни – природа, быт, традиции, народная речь, и новые герои – заводчики, старообрядцы, охотники, и их сильные, волевые характеры. А. П. Чехов отзывался о произведениях Мамина-Сибиряка: «Там, на Урале, должно быть, все такие: сколько бы их ни толкли в ступе, а они все – зерно, а не мука. Когда, читая его книги, попадаешь в общество этих крепышей – сильных, цепких, устойчивых и черноземных людей, – то как-то весело становится. В Сибири я встречал таких, но, чтобы изображать их, надо, должно быть, родиться и вырасти среди них». В настоящем издании публикуются романы «Дикое счастье» и «Золото», а также сценарий к фильму «Золото», снятому режиссером А. Мармонтовым.

© Мамин-Сибиряк Д. Н.

© Азбука-Аттикус

Содержание

ДИКОЕ СЧАСТЬЕ	6
I	6
II	10
III	17
IV	25
V	30
VI	34
VII	40
VIII	45
IX	51
X	56
XI	64
XII	70
XIII	77
XIV	84
Конец ознакомительного фрагмента.	88

ДМИТРИЙ МАМИН-СИБИРЯК

ЗОЛОТО (СБОРНИК)

© ООО Второе продюсерское управление «Свердловской киностудии», 2013
SVERDLOVSK FILM STUDIOS

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

ДИКОЕ СЧАСТЬЕ

I

– Господи Иисусе Христе, помилуй нас...

– Аминь! Кто там крещеной? Никак ты, Михалко?

– Он самый... Отворяй ворота скорей, дядя. Насквозь изняло дождем, – во как зарядил!

– Откедова Бог несет?

– В Полдневскую гонял... Дельце маленькое вышло.

Дядя Зотушка ничего не ответил и молча принялся отодвигать тяжелый деревянный запор, которым были крепко заперты шатровые крашенные ворота. Засов отсырел от дождя, и дядя Зотушка принужден был навалиться на него всей чахоточной грудью, чтобы выдвинуть его из крепких железных скоб. «Ишь ведь взяло его...» – ворчал Зотушка, когда конец мокрого запора наконец поддался его усилиям и выдвинулся настолько, что можно было отворить маленькие ворота. В глубине темного двора как бешеная металась пестрая собака Соболько; заслышав хозяина, она радостно взвизгнула и еще неистовее принялась греметь своей железной цепью.

– Ну, едва тебя Бог простил с запором-то... – проговорил Михалко, въезжая в ворота верхом.

– Ты востер больно... Ишь закипело комариное-то сало!

Дядя Зотей еще раз навалился на упрямый запор и зашлепал по дощатому мокрому полу босыми ногами. Михалко не торопясь спустился с тяжело дышавшей лошади, забрызганной липкой осенней грязью по самые уши.

– Ладно, как пересобачил лошадь-ту, – говорил дядя Зотей, оглядывая лошадь, покрытую сплошным слоем грязи.

– За долгами отец посылал, – коротко ответил Михалко, расправляя на себе смятый кожан, насквозь пропитанный холодной дождевой водой. – В два-то конца все сорок верст сделал. А ты, дядя, выводи лошадь-то, больно заморилась...

– Знамо дело, не так же ее бросить... Не нашли с отцом-то другого времени, окромя распутицы, – ворчал добродушно Зотушка, щупая лошадь под потником. – Эх, как пересобачил... Ну, я ее тут вывожу, а ты ступай скорей в избу, там чай пьют, надо полагать. В самый раз попал.

– Так ты уж тово, Зотушка... Сперва выводи, а потом к столбу привяжи гнедка. Пусть хорошенько выстоится.

– Ладно, ладно... Без тебя знаем. Ступай. Ученого учить – только портить.

Зотушка посмотрел на широкую спину уходившего Михалка и, потянув лошадь за осклизлый повод, опять зашлепал по двору своими босыми ногами. Сутулая, коренастая фигура Михалки направилась к дому и быстро исчезла в темных дверях сеней. Можно было расслышать, как он вытирал грязные ноги о рогожу, а затем грузно начал подниматься по ступенькам лестницы.

«Этакой медведь этот Михалко! – думал Зотушка, таская за собой тяжело шагавшую лошадь. – Нет чтобы дать дяде пяточок... А-ах, чтоб тебя расстреляло!»

Голова Зотушки, с липкими жиденькими прядями волос, большим лбом, большими ушами, жиденькой бородкой, длинным носом и узенькими черными глазками, трещала со вчерашнего похмелья по всем швам. Ныла каждая косточка, каждая жилка, и так воротило с нутра, что Зотушка несколько раз начинал сердито отплеываться, приговаривая: «А-ах, Боже мой... помилуй нас грешных! Ведь всего один пяточок. Поправился бы, и шабаш. Ни-ни... Просил даве у старухи червячка заморить – в шею выгнала... Ньюша дала бы, да у самой денег нет.

Эх, жисть!..» В душе Зотушки родилась слабая надежда, что авось, если выводит лошадь, ему вышлют стаканчик. А славный стаканчик есть у старухи, еще дедовский, граненый, с плоским доньшком. Не чета нынешним, из которых щенка не напоишь! А дождь продолжал частить, мерно осыпая железную крышу дробившимися каплями; с потолка глухо бежала вода, хлюпающая в старой деревянной кадочке. Осенний темный вечер наступил незаметно и затянул все кругом беспросветной мглой – угол навеса, под которым стояли поленницы дров, амбары, конюшни, флигелек, где у старухи Татьяны Власьевны был устроен приют для старух и где в отдельной каморке ютился Зотушка. Из мрака выделялся темной глыбой только большой старинный дом, глядевший на двор своими небольшими освещенными окнами. Зотушка мог видеть в окна, что чай уже отпили, когда в комнату вошел Михалко, потому что старуха ушла на свою половину. «Сам», то есть Гордей Евстратыч, сидел еще за столом, слушая болтовню черноволосяй Нюши, которая вертелась около него мелким бесом. Старшая невестка Ариша, жена Михалки, сосредоточенно перемывала чайную посуду, взмахивая концом полотенца: сегодня ее очередь чаем всех поить.

– Нет, видно, не вышлют... – решил Зотушка, когда Михалко не торопясь выпил два стакана чаю и поднялся из-за стола. – Вот тебе и утка с квасом!..

Против окна теперь стоял Гордей Евстратыч, хозяин дома и брат Зотушки; он степенно разглаживал свою окладистую бороду, красиво исчерченную выступавшей сединой. Михалко, видимо, отчитывался ему в своей поездке, откладывая что-то на пальцах. В такт цифрам он встряхивал своими подстриженными в скобу волосами, а потом добыл из кармана пиджака потертый бумажник и вынул из него пачку засаленных кредиток. «Рублей тридцать будет», – подумал Зотушка про себя и еще раз усомнился: вынесут ему стаканчик или нет. Ведь если по-человечеству-то разобрать, так он уж сколько времени вываживает лошадь, а на дворе вон какая непогода – всего промочило до нитки.

На этот раз Зотушка не дождался стаканчика и, выведя лошадь, привязал ее к столбу выстаиваться, а сам ушел в свою конуру, где сейчас же и завалился спать.

К ужину в небольшой проходной комнате, выходящей окнами на двор, собралась вся семья: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч, старший сын Михалко с женой Аришей, второй сын Архип с женой Дуней и черноволосяя бойкая Нюша. Гордей Евстратыч был вдовец, и весь дом вела его мать, Татьяна Власьевна, высокая, ширококостная старуха раскольничьего склада; она строго блюла за порядком в доме, и снохи ходили у ней по струнке. Издали эта крепкая купеческая семья могла умилить самого завязанного поклонника патриархальных нравов, особенно когда все члены ее собирались за столом. Обеды и ужины проходили в торжественном молчании, точно совершалось таинство. Разговаривать могли только «сам» и «сама», а молодые должны были только отвечать на вопросы. Впрочем, для Нюши и старшей невестки Ариши делалось исключение, и они могли иногда вернуть свое словечко, хотя «сама» и подбирала строго каждый раз свои сухие, бесцветные губы. Сегодняшний ужин походил на все другие. Мужчины в одних ситцевых рубашках занимали одну половину длинного стола, женщины другую. Татьяна Власьевна была одета в свой неизменный косоклиный кубовый сарафан с желтыми проймами и в белую холщовую рубаху; темный старушечий платок с белыми горошинами был повязан на голове кикой, как носят старухи-кержанки. Невестки и Нюша, в ситцевых сарафанах, таких же рубахах и передниках, были одеты как сестры; строгая Татьяна Власьевна не хотела никого обижать, показывая костюмом, что для нее все равны. Только бабы повязки невесток выделяли их положение в семье; непокрытая голова Нюши с черной длинной косой говорила о ее непокрытой девичьей вольной волушке.

Обеденный стол был накрыт синей пестрядевой скатертью; все ели из одной чашки деревянными ложками. День был постный, и стряпка Маланья, кривая старая девка в кубовом синем сарафане, подала на стол только постные щи с поземиной да гречневую кашу с конопляным маслом. Больше ничего не полагалось, а Татьяна Власьевна для постного дня даже к

поземине не прикоснулась, потому что это все-таки рыба, хотя и сушеная. Маланья была свой человек в доме, потому что жила в нем четвертый десяток; такая прислуга встречается в хороших раскольничьих семьях, где вообще к прислуге относятся особенно гуманно, хотя по внешнему виду и строго.

Сегодня Гордей Евстратыч был особенно в духе, потому что Михалко привез ему из Полдневской один старый долг, который он уже считал пропащим. Несколько раз он начинал подшучивать над младшей невесткой Дуней, которая всего еще полгода была замужем; красивая, свежая, с русым волосом и ленивыми карими глазами, она только рдела и стыдливо опускала лицо. Красавец Архип, муж Дуни, любовался этим смущением своей молодайки и, встряхивая своими черными, подстриженными в скобу волосами, смеялся довольной улыбкой.

– Будет вам лясы-то точить, – строго заметила Татьяна Власьевна, останавливая эту сцену. – Ведь за столом сидим, Гордей Евстратыч. Тебе бы других удержать от лишнего слова, а ты сам первый затейщик...

– Ну не буду, мамынька, – оправдывался Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. – Пошутил, и кончено...

– Уж бабушка всегда у нас такая... – прибавила Нюша.

– Какая такая? – сердито заговорила Татьяна Власьевна. – Ну, говори, верченая!..

– Да такая... слово сказать нельзя.

– Ох, ты-то – невитое сено!.. У тебя и на уме-то все одни хи-хи да смехи. Погоди, вот...

Татьяна Власьевна недосказала конца фразы, хотя все хорошо поняли, что она хотела сказать: «Погоди, вот выйдешь замуж-то, так не до смеху будет... Востра больно!» Это была стереотипная угроза, которая слишком часто повторялась, чтобы испугать бойкую и неугомонную Нюшу. На ворчанье бабушки у нее был отличный ответ, который она, к сожалению, могла говорить только про себя: «Нашла чем пугать... У меня жених давно приготовлен, только дорогу перейти – тут и жених. А зовут его Алешкой Пазухиним!..» Невестки хотя и дружили с Нюшей, особенно Ариша, но внутренне были против нее, потому что Нюша все-таки была «отецкая», баловная дочка, и Татьяна Власьевна ворчала на нее только для видимости. Существование Алешки Пазухина не было тайной ни для кого в семье, хотя об этом никто не говорил ни слова: парень был подходящий, хорошей «природы», как говорила про себя степенная Татьяна Власьевна.

После ужина все, по старинному прадедовскому обычаю, прощались с бабушкой, то есть кланялись ей в землю, приговаривая: «Прости и благослови, бабушка...» Степенная, важеватая старуха отвечала поясным поклоном и приговаривала: «Господь тебя простит, милушка». Гордею Евстратычу полагались такие же поклоны от детей, а сам он кланялся в землю своей мамыньке. В старинных раскольничьих семьях еще не вывелся этот обычай, заимствованный из скитских «метаний».

Когда все начали расходиться по своим углам, молчавший до последней минуты Михалко проговорил:

– А у меня, тятенька, до тебя дельце есть небольшое...

Он замялся и почесал у себя в затылке.

– Пойдем ко мне в горницу, – проговорил Гордей Евстратыч, удивленный «дельцем» Михалки.

Дом хотя был и одноэтажный, но делился на много комнат: в двух жила Татьяна Власьевна с Нюшей; Михалко с женой и Архип с Дуней спали в темных чуланчиках; сам Гордей Евстратыч занимал узкую угловую комнату в одно окно, где у него стояла двухспальная кровать красного дерева, березовый шкаф и конторка с бумагами. Лучшие комнаты, как во всех купеческих домах, стояли совсем пустыми, потому что служили парадными приемными при разных торжественных случаях. Вся семья жалась по крошечным клетушкам целый год, чтобы

два или три раза в год принять гостей по-настоящему, как принимали все другие. Эти «другие», «как у других» – являлось железным законом.

– Ну что, Миша?.. – спрашивал Гордей Евстратыч, притворяя за собой дверь.

– Да вот, тятенька... я тебе привез гостинец от старателя Маркушки, – неторопливо проговорил Михалко, добывая из кармана штанов что-то завернутое в смятую серую бумагу.

– Это из Полдневской?

– Да. От Маркушки... Он сильно скудается здоровьем-то. «Вот, – говорит, – увидишь отца, отдай ему, пусть поглядит, а ежели, – говорит, – ему поглянется – пусть приезжает в Полдневскую, пока я не умер». У Маркушки водянка, сказывают. Весь распух, точно восковой.

Гордей Евстратыч осторожно развернул бумагу и вынул из нее угловатый кусок белого кварца с желтыми прожилками. В его трещинах и ноздринках блестело желтоватыми искорками вкрапленное в камень золото. В одном месте из белой массы вылезали два золотых усика, в другом несколько широких блесток были точно приклеены к гладкому камню. Повертывая кусок кварца перед лампой, Гордей Евстратыч рассмотрел в одном углублении, где желтела засохшая глина, целый самородок, походивший на небольшой боб; один край самородка был точно обгрызен. Да, это было золото, настоящее, червонное золото. Один самородок весил не меньше ползолотника... Гордей Евстратыч не мог оторвать глаз от заветного камешка, который точно приковал его к себе.

– Жилка... – в раздумье проговорил Гордей Евстратыч, чувствуя, как у него на лбу выступил холодный пот. – Видишь, Миша?

Михалко хотел взять в руки кусок кварца, но Гордей Евстратыч отстранил его и опять внимательно принялся рассматривать его перед огнем. Но теперь он уже любовался куском золотоносной руды, забыв совсем о Михалке, который выглядывал из-за его плеча.

– Так Маркушка-то зачем послал с тобой жилку-то? – спрашивал Гордей Евстратыч, приходя в себя. – За долг?

– Нет, про долг он ничего не говорил, а только наказывал, чтобы ты приехал в Полдневскую. «Надо, – говорит, – мне с Гордеем Евстратычем переговорить...» Крепко наказывал.

– А про жилку-то он тебе говорил или нет?

– Только всего и сказал: «Покажи, – говорит, – тятеньке скварец; ежели поглянется, пусть приезжает скорее...» А когда стал жилку в бумагу завертывать, прибавил еще: «Ох, хороша штучка!»

– Так он, Маркушка-то, сильно, говоришь, болен? – спрашивал Гордей Евстратыч, соображая совсем о другом.

– Да, совсем в худых душах...¹ Того гляди, душу Богу отдаст. Кашель его одолел. Старухи пользуют чем-то, да только легче все нет.

Гордей Евстратыч не слышал последних слов, а схватившись за голову, что-то обдумывал про себя. Чтобы не выдать овладевшего им волнения, он сухо проговорил, завертывая кварц в бумагу:

– Все это вздор, Миша... Ступай, спи с Богом. Маркушка не нас первых с тобой обманывает на своем веку.

¹ То есть при смерти. (Примеч. Д. Н. Мамин-Сибиряка.)

II

К девяти часам вечера все в доме были на своих местах, потому что утром нужно рано вставать. Татьяна Власьева всех поднимает на ноги чем свет и только одной Арише позволяет понежиться в своей каморке лишней часок, потому что Ариша ночью возится с своим двухмесячным Степушкой.

Две комнаты, в которых жила Татьяна Власьева, напоминали скорее монастырскую келью. Низкие потолки, оклеенные дешевыми обоями стены; выкрашенные синей краской дверные косяки и широкие лавки около стен; большой иконостас в углу с неугасимой лампадой; несколько окованных мороженым железом сундуков, сложенных по углам в пирамиду, – вот и все. На полу были постланы чистые половики, тканые из пестрой ветошки, на окнах белели кисейные занавески; около кровати, где спала Нюша, красовался старинный туалет с вычурной резьбой. В этих двух комнатах всегда пахло росным ладаном, горелым деревянным маслом, геранью, желтыми восковыми свечами, которые хранились в длинном деревянном ящике под иконостасом, и тем специфическим, благочестивым по преимуществу запахом, каким всегда пахнет от старых церковных книг в кожаных переплетах, с медными застежками и с закапанными воском, точно вылощенными, страницами. До старинных книг Татьяна Власьева была великая охотница, хотя и считалась давно уже единоверкой; она никогда не упускала случая приобрести такую книгу, чтобы иметь возможность почитать ее наедине. Из этих книг составила у ней маленькая библиотека, которая и хранилась в особом шкафике, висевшем на стене рядом с иконостасом. К старине Татьяна Власьева питала почти болезненную слабость, все равно, в каких бы формах ни проявлялась эта старина: она хранила как зеницу ока все сарафаны, полученные ею в приданое, старинные меха, шубы, крытые излежавшейся материей, даже изъеденные молью лоскутки и разное тряпье.

После ужина Татьяна Власьева молилась бесконечной старинной молитвой с лестовкой в руках. Поклоны откладывались по уставу, как выучили Татьяну Власьевну с детства раскольничьи «исправницы». Засыпая в своей кровати крепким молодым сном, Нюша каждый вечер наблюдала одну и ту же картину: в переднем углу, накрывшись большим темным шелковым платком, пущенным на спину в два конца, как носят все кержанки, бабушка молится целые часы напролет, откладываются широкие кресты, а по лестовке отсчитываются большие и малые поклоны. Глядя на высохшее желтое лицо бабушки, с строгими серыми глазами и прямым носом, Нюша часто думала о том, зачем бабушка так долго молится? Неужели у ней уж так много грехов, что и замолить нельзя? Девушка иногда сердилась на упрямую старуху, особенно когда та принималась ворчать на нее, но когда бабушка вставала на молитву – это была совсем другая женщина, вроде тех подвижниц, какие глядят строгими-строгими глазами с икон старинного письма. Конца бабушкиной молитвы Нюша не могла никогда дожидаться и засыпала сладким сном под мерный шепот бесконечных канунов. На этот раз девушка особенно долго болтала, мешая старухе молиться.

– А ты, баушка, на меня не сердишься? – спрашивала Нюша впросонье.

– Отстань, – с фальшивой строгостью отвечала бабушка, путаясь в счете поклонов.

– В то воскресенье мы к Пятовым пойдем, баушка... Пойдем?.. Фене новое платье сшили, называется бордо, то есть это краска называется, баушка, бордо, а не материя и не мода. Пони-маешь?

– Отстань!..

– Феня такая счастливая... – с подавленным вздохом проговорила Нюша, ворочаясь под ситцевым стеганым одеялом. – У ней столько одних шелковых платьев, и все по-модному... Только у нас у одних в Белоглинском заводе и остались сарафаны. Ходим как чучелы гороховые.

– Ты у меня помели еще, безголовая! О Господи! согрешила я, грешная, с этой девкой... Ох, уж повесят тебя на том свете прямо за язык!

Молчание. Опять поклоны. Неугасимая лампада горит неровным пламенем, разливая кругом колеблющийся неверный свет. Желтые полосы света бродят по выбеленному потолку, на мгновение выхватывают из темноты угол старинной печи и, скользнув по полу, исчезают. Нюша долго наблюдает эту игру света, глаза у ней слипаются, начинает клонить ко сну, но она еще борется с ним, чтобы чуточку подразнить строгую бабушку.

– Баушка, Вукол-то Логиныч, сказывал даве Архип, зонтик себе в городе купил, – начинает Нюша, сладко позевывая. – А знаешь, сколько он за него заплатил?

– Отстань...

– Шелковый зонтик-то, баушка! А ручка точеная из слоновой кости. Только Архип сказывает, что выточена такая фигура, что девушкам и смотреть совестно.

– Тьфу!.. тьфу!.. – отплевывалась старуха. – Провались ты с своим Вуколом Логинычем... Нашла важное кушанье!.. Срамник он, Вукол-то Логиныч... Тьфу!..

– Баушка, да ведь он за зонтик-то заплатил семьдесят целковых... Ей-богу! Хоть сама спроси у Архипа.

– Как семьдесят?

– Право, баушка, семьдесят целковых за один зонтик...

– Ох, дурак, дурак этот Вукол... Никого у них в природе-то таких дураков не было. Ведь Шабалины-то по нашим местам завсегда в первых были, особливо дедушка-то, Логин. Богатые были, а чтобы таких глупостей... семьдесят целковых! Это на ассигнации-то считать, так чуть не триста рублевиков... Ох-хо-хо!.. Уж правду сказать, что дикая-то копеечка не улежит на месте.

Взволнованная семидесятирублевым зонтиком, Татьяна Власьевна позабыла свои кануны и принялась рассказывать поучительные истории о Шабалиных, Пятовых, Колобовых, Савиных и Пазухиных. Вон какой народ-то, все как на подбор! Таких с огнем поискать, и не в Белоглинском заводе. Крепкий народ, по всему Уралу знают белоглинских-то. Даже из Москвы выезжают за нашими невестами. Вот оно что значит природа-то... Теперь взять хоть Настю Шабалину – вышла за сарапульского купца; Груня Пятова в Москву вышла; у Савиных дочь была замужем за рыбинским купцом, да умерла, сердечная, третий годок пойдет с зимнего Николы. А Вукол Логиныч что? Он только свою природу срамит... Семьдесят рублей зонтик! Да и другие-то, глядя на него, особливо которые помоложе, – пошаливают. Вон у Пятовых сынок-то в Ирбитской что настряпал! Легкое место сказать... А всему заводчик Вукол, чтобы ему ни дна ни покрышки. В допрежние времена таких дураков и не бывало. Так, дурачили промежду себя, только чтобы зонтиков покупать в семьдесят целковых – нет, этого не бывало.

Последние фразы Татьяна Власьевна говорила в безвоздушное пространство, потому что Нюша, довольная своей выходкой с зонтиком, уже спала крепким сном. Ее красивая черноволосая головка, улыбавшаяся даже во сне, всегда была набита самыми земными мыслями, что особенно огорчало Татьяну Власьевну, тяготевшую своими помыслами к небу. Прочитав еще два кануна и перекрестив спавшую Нюшу, Татьяна Власьевна осмотрела, заперты ли окошки на болты, надела на себя пестрядевый пониток и вышла из комнаты. Не торопясь, вышла она и заперла за собой тяжелую дверь на висячий замок, притворила осторожно сени и заглянула на двор. Дождь перестал, по небу мутной грядой ползли низкие облака, в двух шагах трудно было что-нибудь отличить; под ногами булькала вода. Перекрестив дом и двор, старуха впотьмах побрела к воротам. Чтобы не упасть, ей приходилось нащупывать рукой бревенчатую стену. Отворив калитку, Татьяна Власьевна еще раз благословила спавший крепким сном весь дом, а потом заперла калитку на тяжелый висячий замок и осторожно принялась переходить через улицу. В одном месте она черпнула воды своим низким башмаком без каблука, в другом обеими ногами попала в грязь; ноги скоро были совсем мокры, а вода хлюпала в самых башмаках.

Но старуха продолжала идти вперед; Старая Кедровская улица была ей знакома как свои пять пальцев, и она прошла бы по ней с завязанными глазами. Недаром она выжила в этой улице пятьдесят лет. Вот через дорогу дом Пазухиных; у них недавно крышу перекрывали, так под самыми окнами бревно оставили плотники, – как бы за него не запнуться. От дома Пазухиных вплоть до Гнилого переулка идет одно прясло, а повернешь в переулок – тут тебе сейчас домик о. Крискента. Славный домик, с палисадником и железной крышей; в третьем годе, когда у о. Крискента родился мертвенький младенец, дом опалубили и зеленой краской выкрасили. Татьяна Власьевна по Гнилому переулку вышла на большую заводскую площадь, посредине которой неправильной глыбой темнела выступавшая углами, вновь строившаяся единоверческая церковь. Когда старуха взяла площадь наискось, прямо к церкви, небо точно прояснилось, и она на мгновение увидела леса и переходы постройки. Где-то брехнула собака. Редкие капли дождя еще падали с неба, точно серые нависшие тучи отряхивались, роняя на землю последние остатки дождя.

– Слава тебе, Господи! – прошептала Татьяна Власьевна, когда переступила за черту постройки.

Помолившись на восток, она отыскала спрятанную под тесом носилку для кирпичей, надела ее себе на плечи, как делают каменщики, и отправилась с ней к правильным стопочкам кирпича, до которого добралась только ощупью. Сложив на свою носилку шесть кирпичей, Татьяна Власьевна надела ее себе на спину и, пошатываясь под этой тяжестью, начала с ней подниматься по лесам. Кругом было по-прежнему темно, но она хорошо знала дорогу, потому что вот уже третью неделю каждую ночь таскала по этим сходням кирпичи. Раньше ночи были светлые, и старуха знала каждую доску.

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий... – шептала Татьяна Власьевна, поднимаясь по сходням сверху.

Доски были мокры от недавнего дождя, и нога скользила по ним; прикованные гвоздями поперечные дощечки, заменявшие ступеньки, кое-где оборвались с своих мест, и приходилось ощупывать ногой каждый шаг вперед, чтобы не слететь вниз вместе с своей тридцатифунтовой ношей. Но эта опасность и придавала силу работавшей старухе, потому что этим она выполняла данное обещание поработать Богу в поте лица. Давно было дано это обещание, еще в молодые годы, а исполнять это приходилось теперь, когда за спиной висели семьдесят лет, точно семьдесят тяжелых кирпичей. Да, много было прожито и пережито, и суровая старуха, сгибаясь под ношей, тащила за собой воспоминания, как преступник, который с мучительным чувством сосущей тоски вспоминает мельчайшие подробности сделанного преступления и в сотый раз терзает себя мыслью, что было бы, если бы он не сделал так-то и так-то. «Господи помилуй!.. Господи помилуй!» – шептала Татьяна Власьевна от сознания своей человеческой немощи. Но вот первая ноша поднята, вот и карниз стены, который выводят каменщики; старуха складывает свои кирпичи там, где завтра должна продолжаться кладка. Небо все еще обложено темными тучами, но в двух или трех местах уже пробиваются неясные светлые пятна, точно небо обтянуто серой материей, кое-где сильно проношенной, так что сквозь образовавшиеся редины пробивается свет. После двух подъемов на леса западная часть неба из серой превратилась в темно-синюю – сверкнула звездочка, пахнуло ветром, который торопливо гнал тяжелые тучи. Татьяна Власьевна присела в изнеможении на стопу принесенных кирпичей, голова у ней кружилась, ноги подкашивались, но она не чувствовала ни холодного ветра, глухо гудевшего в пустых стенах, ни своих мокрых ног, ни надсаженных плеч. Вон из осенней мглы выступают знакомые очертания окрестностей Белоглинского завода, вон Старая Кедровская улица, вон новенькая православная церковь, вон пруд и заводская фабрика... Выглянувший из-за туч месяц ярко осветил всю картину спавшего завода – ряды почерневших от недавнего дождя крыш, дымившиеся на фабрике трубы, домик о. Крискента, хоромы Шабалиных. Все это были немые свидетели долгой-долгой жизни, свидетели, которые не могли обличить сло-

вом, но по ним, как по отдельным ступенькам лестницы, неутомная мысль переходила через длинный ряд пережитых годов. Все это было, и Татьяна Власьева переживает свою жизнь во второй раз, переживает вот здесь, на верху постройки, откуда до неба, кажется, всего один шаг. Но именно этот шаг и пугает ее; она хватается за голову и со слезами на глазах начинает читать вырвавшийся из больной души согрешившего царя крик: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!»

Но нужно носить кирпичи; до утра осталось часа три; Татьяна Власьева спускается вниз и поднимается с тяжелой ношей почти машинально, как заведенная машина. Именно такой труд, доводящий старое тело почти до полного бесчувствия, – именно такой труд дает ее душе тот покой, какого она страстно домогается и не находит в обыкновенных христианских подвигах, как пост, молитва и бесконечные поклоны. Да, по мере того как тело становится лишней тягостью, на душе все светлее и светлее... Татьяна Власьева видит себя пятнадцатилетней девушкой – она такая высокая, рослая, с румянцем во всю щеку. Все на нее заглядываются, даже старики. Ей никто не нравится, хотя она не прочь поглазеть на молодых парней. Ох-хо-хо!.. Никем-то никого не осталось из бывших молодцев, точно они уплыли один за другим. Да, никого не осталось в живых, только она одна, чтобы замаливать свои и чужие грехи. На шестнадцатом году Таню выдали замуж за вдовца-купца по фамилии Брагин; до венца они не видали друг друга. Ей крепко не понравился старый муж, но стерпела и помирилась с своей судьбой, благо вышла в достаточную семью на свое хозяйство, не знала свекровушкиной науки, а потом пошли детки-ангелочки... Все девичье глупое горе износилось само собой, и подумала Татьяна Власьева, что так она и век свой изживет со старым нелюбимым мужем. Конечно, завидно иногда было, глядя на чужих молодых мужей, но уж кому какое счастье на роду написано. Венец – суд Божий, не нам его пересуживать. Так думала Татьяна Власьева, да не так вышло. Уж прожила она замужем лет десять, своих детей растила, а тут и подвернись случай... И какой случай!.. Господи, прости меня, окаянную... Да, были и раньше случаи, засматривались на красавицу-молодку добрые молодцы, женатые и холостые, красивые были, только никому ничего не досталось: вздохнет Татьяна Власьева, опустит глаза в землю – и только всего. Один особенно тосковал по ней и даже чуть рук на себя не наложил... Прости и его согрешения, Господи... А горе пришло неожиданно-негаданно, как вор, когда Татьяна Власьева совсем о том и не думала. Приехал в Белоглинский завод управитель Пятов, отец Нила Поликарпыча. Ну, познакомился со всеми, стал бывать. И из себя-то человек – глядеть не на кого: тощий, больной, все кашлял, да еще женатый, и детишек полный дом. Познакомился этот Пятов с мужем Татьяны Власьевны так, что и водой не разольешь: полюбились они друг другу. На именинах, по праздникам друг к дружке в гости всегда ездили. Жена у Пятова была тоже славная такая, хоть и постарше много Татьяны Власьевны. Вот однажды приехал Пятов на Масленице в гости к Брагиным, хозяина не случилось дома, и к гостю вышла сама Татьяна Власьева. Посидели, поговорили. А Пятов нет-нет да и взглянет на нее, таково ласково да приветливо взглянет; веселый он был человек часом, когда в компании...

– Что это ты на меня так глядишь, Поликарп Семеныч? – спросила Татьяна Власьева. – Точно сказать что-то хочешь...

– Хочу сказать, Татьяна Власьева, давно хочу... – ответил Пятов и как будто из себя немного замешался.

– Ну так говори...

– А вот что я скажу тебе, Татьяна Власьева: погубила ты меня, иссушила!.. Господь тебе судья!..

Тихо таково вымолвил последнее слово, а сам все на хозяйку смотрит и смеется. У Татьяны Власьевны от этих слов мороз по коже пошел, она хотела убежать, крикнуть, но он все смотрел на нее и улыбался, а у самого так слезы и сыплются по лицу.

– Гоните меня, Татьяна Власьева... – тихо заговорил Пятов, не вытирая слез. – Гоните...

От этих слов у Татьяны Власьевны точно что оборвалось в груди: и жаль ей стало Поликарпа Семеныча, и как-то страшно, точно она боялась самой себя. А Пятов все смотрит на нее... Красивая она была тогда да молодая, – кровь с молоком бабенка! А в своем синем сарафане и в кисейной рубашке с узкими рукавами она была просто красавица писаная. Помутилось в глазах Пятова от этой красавицы, от ясных ласковых очей, от соболиных бровей, от белой лебяжьей груди, – бросился он к Татьяне Власьевне и обнял ее, а сам плачет, плачет и целует руки, шею, лицо, плечи целует. Онемела Татьяна Власьевна, жаром и холодом ее обдало, и сама она тихо-тихо поцеловала Поликарпа Семеныча, всего один раз поцеловала, а сама стоит пред ним, как виноватая.

– Насмеялся ты надо мной, Поликарп Семеныч, – заговорила она, когда немного пришла в себя. – Опозорил мою головушку... Как я теперь на мужа буду глядеть?

– Голубушка, Татьяна Власьевна... Мой грех – мой ответ. Я отвечу за тебя и перед мужем, и перед людьми, и перед Богом, только не дай погибнуть христианской душе... Прогонишь меня – один мне конец. Пересушила ты меня, злая моя разлучница... Прости меня, Татьяна Власьевна, да прикажи мне уйти, а своей воли у меня нет. Что скажешь мне, то и буду делать.

– Уходи, Поликарп Семеныч... Бог тебе судья!..

Побелел он от этих слов, затрясся.

– Прощай, чужая жена – моя погибелюшка, – проговорил он, поклонился низко-низко и пошел к дверям.

Опять сделалось страшно Татьяне Власьевне, страшнее давешнего, а он идет к дверям и не оглядывается... Подкосились резвые ноги у красавицы-погибелюшки, и язык сам сказал:

– Поликарп Семеныч!.. воротись!

Ох, вышел грех, большой грех... – пожалела Татьяна Власьевна грешного человека, Поликарпа Семеныча, и погубила свою голову, навсегда погубила. Сделалось с нею страшное, небывалое... Сама она теперь не могла жить без Поликарпа Семеныча, без его грешной ласки, точно кто ее привязал к нему. Позабыла и мужа, и деток, и свою спобедную головушку для одного ласкового слова, для приворотного злого взгляда.

Так они и зажили, а на мужа точно слепота какая нашла: души не чаёт в Поликарпе Семеныче; а Поликарп Семеныч, когда Татьяна Власьевна растужится да расплачется, все одно приговаривает: «Милушка моя, не согрешишь – не спасешься, а было бы после в чем каяться!» Никогда не любившая своего старого мужа, за которого вышла по родительскому приказанию, Татьяна Власьевна теперь отдалась новому чувству со всем жаром проснувшейся первой любви. В качестве запретного плода эта любовь удесятерила прелесть тайных наслаждений, и каждый украденный у судьбы и людей час счастья являлся настоящим раем. Плодом этой преступной связи и был Зотушка, нисколько не походивший на своего старшего брата Гордея и на сестру Алену.

Муж Татьяны Власьевны промышлял на Белоглинском заводе торговлей «панским», то есть ситцами, сукном и т. д. Дело он вел хорошо, и трудовое богатство наливалось в дом как вода. А тут старший сын начал подрастать и отцу в помощь пошел: все же кошку в лавку не посадишь или не пошлешь куда-нибудь. Из Гордея вырабатывался не по летам серьезный мальчик, который в тринадцать лет мог править дело за большого. Все шло как по маслу. Брагины начали подниматься в гору и прослыли за больших тысячников, но в один год все это благополучие чуть не пошло прахом: сам Брагин простудился и умер, оставив Татьяну Власьевну с тремя детьми на руках. Этот неожиданный удар совсем ошеломил молодую вдову как Божеское наказание за ее грехи. Постылый старый муж, который умер с спокойной совестью за свое семейное счастье, теперь встал пред ней немым неотступным укором. После девяти Татьяна Власьевна пригласила к себе в дом Поликарпа Семеныча и сказала ему, опустив глаза:

– Ну, Поликарп Семеныч, теперь уже прощай... Будет нам грешить. Если не умела по своему малодушию при муже жить, так надо теперь доучиваться одной.

– Как же это, Таня...

– Я тебе не Таня больше, а Татьяна Власьевна. Так и знай. Мое слово будет свято, а ты как знаешь... Надо грех замаливать, Поликарп Семеныч. Прощай, голубчик... не поминай лихом...

Голос у Татьяны Власьевны дрогнул, в глазах все смешалось, но она пересилила себя и не поддавалась на «прелестные речи» Поликарпа Семеновича, который рвал на себе волосы и божился на чем свет стоит, что сейчас же наложит на себя руки.

– А я буду молиться за тебя Богу, – уже спокойно ответила Татьяна Власьевна, точно она замерла на одной мысли.

Этим все и кончилось.

Татьяна Власьевна как ножом обрезала свою старую жизнь и зажила по-новому, «честной матерной вдовой», крепко соблюдая взятую на себя задачу. В это время ей всего было еще тридцать лет, и она, как одна из первых красавиц, могла выйти замуж во второй раз; но мысли Татьяны Власьевны тяготели к другому идеалу – ей хотелось искупить грех юности настоящим подвигом, а прежде всего поднять детей на ноги. Время бежало быстро, дети выросли. Старший, Гордей, был вылитый отец – строгий, обстоятельный, деляга; второй, Зотей, являлся полной противоположностью, и как Татьяна Власьевна ни строжила его, ни начала – из Зотей ничего не вышло, а под конец он начал крепко «зашибать водкой», так что пришлось на него совсем махнуть рукой. Татьяна Власьевна должна была примириться с этим как с Божеским наказанием за свой грех и утешилась старшим сыном, которого скоро женила. Внучата на время заставили Татьяну Власьевну отложить мысль о подвиге, тем более что жена Гордея умерла рано и ей пришлось самой воспитывать внучат.

Вот те мысли, которые мучительно повертывались клубком в голове Татьяны Власьевны, когда она семидесятилетней старухой таскала кирпичи на строившуюся церковь. Этот подвиг был только приготовлением к более трудному делу, о котором Татьяна Власьевна думала в течение последних сорока лет, это – путешествие в Иерусалим и по другим святым местам. Теперь задерживала одна Нюша, которая, того гляди, выскочит замуж, – благо и женишок есть на примете.

«Вот бы только Нюшу пристроить, – думала Татьяна Власьевна, поднимаясь в десятый раз к кирпичам. – Алексей у Пазухиных парень хороший, смиренный, да и природа пазухинская по здешним местам не последняя. Отец-то, Сила Андроныч, вон какой парень, под стать как раз нашему-то Гордею Евстратычу».

Старуха проработала до четырех часов, когда на фабрике отдали первый свисток на работу. Она набожно помолилась в последний раз и поплелась домой, разбитая телом, но бодрая и точно просветленная духом. Кругом было все темно, но в избах уже мелькали яркие огоньки: это топились печки у заботливых хозяев. Вон у о. Крискента тоже искры сыплются из трубы, – значит, стряпка Аксинья рано управляет. У Пазухиных темно: у них подолгу спят. Подходя к своему дому, Татьяна Власьевна заметила в окне горницы Гордея Евстратыча огонь.

«Уж не болен ли? – подумала старуха и торопливо зашагала через улицу. – Куда ему эку рань подниматься?.. Может, надо малиной или мятой его напоить».

Гордей Евстратыч действительно не спал, но только не по нездоровью, а от одолевших его мыслей, которые колесом вертелись кругом привезенной Михалком жилки. Сначала он пытался заснуть и лежал с закрытыми глазами часа два, но все было напрасно – сон бежал от Гордея Евстратыча, оставляя в душе мучительно сосавшую пустоту. Зачем старатель Маркушка желает видеть его и зачем он послал с Михалком эту проклятую жилку? А жилка богатейшая... Может быть, Маркушка нашел эту жилку и хочет продать ему... Все может быть, только не нужно упускать случая. Мало ли бывало таких случаев. Эти старатели все знают, а Маркушка совсем прожженный.

Занятый этими мыслями, он не обратил внимания даже на то, как осторожно отворилась калитка и затем заскрипела дверь в сенях.

– Ты что это, Гордей? – спрашивала Татьяна Власьевна, появляясь в дверях его комнаты. – Уж не попритчилась ли какая немочь?

– Нет, мамынька... Так, не поспалось что-то, клопы, надо полагать. Скажи-ка стряпке насчет самоварчика, а потом мне надо будет ехать в Полдневскую.

– Да ведь Михалко вчера в Полдневскую гонял?

– Гонял, да без толку... Самому надо съездить.

III

Напившись чаю, Гордей Евстратыч сам сходил во двор посмотреть, отдохнула ли лошадь после вчерашней езды, и велел Зотушке седлать ее.

– Я сам поеду, – прибавил Гордей Евстратыч, похлопывая гнедка по шее.

Последнее настолько удивило Зотушку, что он даже раскрыл рот от удивления. Гордей Евстратыч так редко выезжал из дома – раз или два в год, что составляло целое событие, а тут вдруг точно с печи упал: «Седлай, сам поеду...» Верхом Гордей Евстратыч не ездил лет десять, а тут вдруг в этакую распутицу, да еще на изморенной лошади, которая еще со вчерашнего не успела отдышаться. Действительно, Гордей Евстратыч был замечательный домосед, и ехать куда-нибудь для него было истинным наказанием, притом он ездил только зимой по удобному санному пути – в Ирбит на ярмарку и в Верхотурье, в гости к сестре Алене. Сборов на такую поездку хватало на целую неделю, а тут на-кася, свернулся в час места... Все эти мысли промелькнули в маленькой головке Зотушки во мгновение ока, и он перебирал их все время, пока седлал гнедка. Куда мог ехать Гордей Евстратыч в такую непогоду?

– Значит, какое-нибудь дело завелось, – решил наконец Зотушка с глубокомысленным видом, когда лошадь была готова.

Татьяна Власьевна была удивлена этой поездкой не менее Зотушки и ждала, что Гордей Евстратыч сам ей скажет, зачем едет в Полдневскую, но он ничего не говорил.

– Зачем в Полдневскую-то наклеялся? – спросила старуха, когда Гордей Евстратыч начал прощаться.

– Дельце есть маленькое... После, мамынька, все обскажу. Благослови в добрый час съездить.

– Ну, Бог тебя благословит, милушка. А послал бы ты лучше Архипа, чем самому трястись по этакой грязище.

– Нельзя, мамынька. Стороной можно проехать... Михалко сегодня в лавке будет сидеть, а Архипа пошли к Пятовым, должок там за ними был. Надо бы книгу еще подсчитать...

– Подождите с книгой-то, Гордей Евстратыч. У нас теперь своя работа стоит. Нюше к зиме шубку ношобную справляем...

– Обождем, ничего. Да пошли еще, мамынька, Зотушку к Шабалиным.

– Ох, нельзя, милушка! Ведь только он едва успел выправиться, а как попадет к Шабалиным – непременно Вукол Логиныч его водкой поить станет. Уж это сколько разов бывало, и не пересчитаешь!.. Лучше я Архипа спосылаю... По пути и забежит, от Пятовых-то.

– Как знаешь.

Гордей Евстратыч сел в мягкое пастушье седло и, перекрестившись, выехал за ворота. Утро было светлое; в воздухе чувствовалась осенняя крепкая свежесть, которая заставляет барина застегиваться на все пуговицы, а мужика – туже подпоясываться. Гордей Евстратыч поверх толстого драпового пальто надел татарский азым, перехваченный гарусной опояской, и теперь сидел в седле молодцом. Выглянувшая в окно Нюша невольно полюбовалась, как тятенька ехал по улице.

Нужно было ехать по Старой Кедровской улице, но Гордей Евстратыч повернул лошадь за угол и поехал по Стекольной. Он не хотел, чтобы Пазухины видели его. Точно так же объехал он рынок, чтобы не встретиться с кем-нибудь из своих торговцев. Только на плотине он попал как кур в ошип: прямо к нему навстречу катился в лакированных дрожжах сам Вукол Логиныч.

«Ох, нелегкая бы тебя взяла!» – подумал про себя Гордей Евстратыч, приподнимая свою суконную фуражку с захватанным козырьком.

Серая в яблоках громадная лошадь, с невероятно выгнутой шеей и с хвостом трубкой, торжественно подкатила Шабалина, который сидел на дрожжах настоящим чертом: в мохнатом

дипломате, в какой-то шапочке, сдвинутой на затылок, и с семидесятирублевым зонтиком в руках. Скуластое, красное лицо Вукола Логиныча, с узкими хитрыми глазами и с мясистым носом, все лоснилось от жира, а когда он улыбнулся, из-за толстых губ показались два ряда гнилых зубов.

– Куда Бог несет, Гордей Евстратычу? – издали кричал Шабалин, высоко поднимая свою круглую шапочку. – Я не знал, что ты таким молодцом умеешь верхом ездить... Уж не на охоту ли собрался?

– Какая у нас охота, Вукол Логиныч... – ответил Брагин недовольным тоном: он обиделся глупым вопросом Шабалина, который всегда смеет что-нибудь самое несуразное.

Эта встреча очень не понравилась Гордею Евстратычу, и он, поднимаясь с плотины в гору, на которой красовалась пятиглавая православная церковь, даже подумал, уж не воротиться ли назад. Оглянувшись, Брагин с сожалением посмотрел «за реку», то есть по ту сторону пруда, где тянулась Старая Кедровская улица. С горки отлично можно было рассмотреть старый брагинский дом, который стоял на углу; из одной трубы винтом поднимался синий дым, значит старуха затеяла какую-нибудь стряпню. «На охоту поехал... – припомнил Брагин со злостью слова Шабалина. – Тьфу ты, греховодник... Нашел охотника!..» С другой стороны, Брагину показалось, что действительно у него сегодня такой глупый вид, точно он «ангела потерял», как говорила Татьяна Власьева про ротозеев. Приосанившись в седле и подтянув поводья, Брагин пустил своего гнедка ходой, чтобы скорее выехать за «жило». Ему пришлось проехать мимо шабалинского дома, и он невольно полюбовался на него. Дом стоял на горе, над прудом, и ярко белел своими пятью колоннами. Эти колонны особенно нравились Брагину, потому что придавали дому настоящий городской вид, как рисуют на картинках. Зеркальные стекла в окнах, золоченая решетка у балкона между колоннами, мраморные вазы на воротах, усыпанный мелким песочком двор – все было хорошо, форменно, как говорил Зотушка про шабалинский дом.

«А все золото поднимает... – подумал невольно Брагин, щупая лежавшую за пазухой жилку. – Вуколу-то Логинычу красная цена расколотый грош, да и того напрочишься, а вон какую хоромину наладил! Кабы этакое богатство да к настоящим рукам... Сказывают, в одно нынешнее лето заробил он на золоте-то тысяч семьдесят... Вот лошадь-то какая – зверь зверем».

Белоглинский завод, совсем затерявшийся в глуши Уральских гор, принадлежал к самым старинным уральским поселениям, что можно было даже заметить по его наружному виду, то есть по почерневшим старинным домам с высокими коньками и особенно по старой заводской фабрике, поставленной еще в 1736 году. Место под завод было выбрано самое глухое, настоящий медвежий угол: горы, болота, леса; до официального основания заводского действия здесь, с разным лесным зверьем, хоронились одни раскольники, уходившие в уральскую глушь от петровских новшеств. Между прочим, свили они себе гнездо и на берегу глухой горной речонки Белой Глинки, пока их не отыскали подьячие и заводские приказчики. Река была перехвачена плотиной, разлился пруд, и задымилась фабрика. Около пруда рассажались заводские домики, вытянувшись «по плану» в широкие правильные улицы. Теперь Белоглинский завод представлял собой такую картину: во-первых, «заречная» низкая сторона, где, собственно, находилось первоначальное раскольничье поселение и где теперь проходила Старая Кедровская улица; дома здесь старинные, и люди в них старинные – отчасти раскольники, отчасти единоверцы; во-вторых, «нагорная» сторона, где красовалась православная церковь и хоромы Шабалина. В нагорной жили большею частью православные, позднейшее этнографическое население. Это деление на «нагорную» и «заречную» стороны продолжалось и ниже заводской фабрики, где Белая Глинка разливалась в низких глинистых берегах. В этой части завода стоял деревянный господский дом с железной крышей, в котором жили Пятовы, и несколько домиков «на городскую руку», выстроенных заводскими служащими. В заречной находилась единственная

заводская площадь, в одном конце которой сбились в кучу деревянные лавки, а в другом строилась единовременная церковь. Старинные семьи, вроде Колобовых, Савиных, Пазухиных и др., все жили в заречной, в крепких старинных домах, в которых на вышках еще сохранились рамы со слюдой вместо стекол. Шабалины жили тоже там, пока Вукол Логиныч не облюбовал себе местечко на нагорной стороне. Это ренегатство очень огорчило всех блюстителей старины вроде Татьяны Власьевны, но Вукол Логиныч был отпетая башка – и взять с него было нечего.

В солнечный день вид на завод представлял собой довольно пеструю картину и, пожалуй, красивую, если бы не теснившийся со всех сторон лес и подымавшиеся кругом лесистые горы, придававшие всей картине неприветливый траурный характер. Впрочем, так казалось только посторонним людям, а белоглинцы, конечно, не могли даже себе представить чего-нибудь лучше и красивее Белоглинского завода. К таким людям принадлежал и Гордей Брагин, бывавший не только в Ирбите и в Верхотурье, но и в Нижнем.

Дорога в Полдневскую походила на те прямоезжие дороги, о которых поется в былинах: горы, болота, гати и зыбуны точно были нарочно нагромождены, чтобы отбить у всякого охоту проехаться по этой дороге во второй раз, особенно осенью, когда лошадь застывает в грязь по колено, вымогаясь из последних сил. Верхом на лошади эти двадцать верст едва можно было проехать в четыре часа. С непривычки к верховой езде Гордей Евстратыч на половине пути почувствовал, как у него отнимается поясница и ноги в стременах начинают деревенеть. А впереди косогор за косогором, гора за горой... Лес стоит кругом темный, настоящий дремучий ельник, которому, кажется, не было конца-краю. Около самой дороги, где лес был немного прочищен, лепились кусты жимолости и малины да молоденькие березки, точно заблудившиеся в этой лесной тущобе; теперь листья уже давно пожелтели и шелестели мертвым шепотом, когда по ним пробегал осенний порывистый ветер. Земля была покрыта шуршавшей под ногой лиственной шелухой, и только кое-где из-под нее пробивались зеленые кустики сохранившейся еще травы, да на опушке леса ярко блестела горькая осина, точно обрызганная золотом и кровью.

Верст не полагалось, и версты отсчитывались по разным приметам: от Белоглинского до Пугиной горы – восемь верст, две версты подался – ключик из косогора бежит, значит – половина дороги, а там через пять верст гарь на левой руке. Брагин почти все время ехал шагом, раздумывая бесконечную дорожную думу, которая блуждала по своим горам и косогорам, тонула в грязи и пробиралась по узким тропинкам. То он видел перед собой Шабалина в его круглой шапочке и начинал ему завидовать; то припоминал разные случаи быстрого обогащения «через это самое золото», как говорил Зотушка; то принимался «сумлеваться», зачем он тащится такую даль; то строил те воздушные замки, без которых не обходятся даже самые прозаические натуры. Что он такое теперь, ежели разобрать? Купец, который торгует панским товаром, – и только. Сыт, одет, ну, копеечки про черный день отложены, а чтобы супротив других из купечества, как в Ирбите, например, собираются, ему, Брагину, далеко не вплоть. А между тем чем он хуже других? Недалеко ходить, хоть взять того же Вукола Логиныча... А с чего человек жить пошел? От пустяков. От такой же жилки, какую он сейчас везет у себя за пазухой. Да... В воображении Брагина уже рисовалась глубокая шахта, из которой бадьями поднимают золотоносный кварц, толкут его и промывают. В результате получилось чистое золото, которое превращается в громадный дом с колоннами, в серых, с яблоками, лошадей, в лакированные дрожки, в дорогое платье и сладкое привольное житье. Первым делом он, конечно, пожертвует в церковь, тайно пожертвует... То-то удивится о. Крискент, когда из кружки добудет несколько радужных. Потом старухе на бедных да на увечных, потом... Все будут ухаживать за Гордеем Евстратычем, как теперь ухаживают за Шабалиным или за другими богатыми золотопромышленниками.

«Прежде гремели на Панютинских заводах золотопромышленники Сиговы да Кутневы», – раздумывал Гордей Евстратыч, припоминая историю уральских богачей.

Сиговым принес жилку один вогул, а Кутневы сами нашли золото, хотя и не совсем чисто. Сказывали, что Кутневы оттягали золотую россыпь у какого-то бедного старателя, который не поживился ничем от своей находки, кроме того разве, что высидел в остроге полгода за свои жалобы на разбогатевших Кутневых. Да, много неправды с этим золотом... Вон про Шабалина рассказывают какие штуки: народ морит работой на своих приисках, не рассчитывает, а попробуй судиться с ним, кому угодно рот заткнет. Мировой судья Липачек ему первый друг и приятель, становой Плинтусов даже спит с ним на одной постели... От этого богатства просто один грех, точно люди всякого «ума решаются». Но ведь это другие, а уж он, Гордей Евстратыч, никогда бы так не сделал. Да... Вон Ньюша на возрасте – ее надо пристраивать за хорошего человека, вон сыновей надо отделять, пока не разорились. Теперь, конечно, все есть, всего в меру, а если разделиться – и пойдут кругом недостатки.

Приободрившаяся лошадь дала знать, что скоро и Полдневская. В течение четырехчасового пути Брагин не встретил ни одной живой души и теперь рад был добраться до места, где бы можно было хоть чаю напиться. Поднявшись на последний косогор, он с удовольствием взглянул на Полдневскую, совсем почти спрятавшуюся на самом дне глубокой горной котловины. Издали едва можно было рассмотреть несколько крыш да две-три избушки, торчавшие особняком, точно они отползли от деревни.

«Настоящее воронье гнездо эта Полдневская», – невольно подумал Брагин, привставая в стременах.

Полдневская пользовалась действительно не особенно завидной репутацией как притон приисковых рабочих. Не проходило года, чтобы в Полдневской не случилось какой-нибудь оказии: то мертвое тело объявится, то крупное воровство, то сбыт краденого золота, то беглые начнут пошаливать. Становой Плинтусов говорил прямо, что Полдневская для него как сухая мозоль – шагу не дает ступить спокойно. Чем существовали обитатели этой деревушки – трудно сказать, и единственным мотивом, могшим несколько оправдать их существование, служили разбросанные около Полдневской прииски, но дело в том, что полдневские не любили работать, предпочитая всему на свете свою свободу. А между тем полдневские мужики не только существовали, но исправно каждое воскресенье являлись в Белоглинский завод, где менялись лошадьми, пьянствовали по кабакам и даже кое-что покупали на рынке, конечно большею частью в долг. К таким птицам небесным принадлежал и старатель Маркушка, давнишний должник Брагина.

Спустившись по глинистому косогору, Гордей Евстратыч вброд переехал мутную речонку Полуденку и, проехав с полверсты мелким осинником, очутился в центре Полдневской, которая состояла всего-навсего из какого-нибудь десятка покосившихся и гнилых изб, поставленных на небольшой поляне в самом живописном беспорядке. Навстречу Брагину выбежало несколько пестрых собак с стоячими ушами, которые набросились на него с таким оглушительным лаем, точно стерегли какие несметные сокровища. В одном окошке мелькнуло женское испитое лицо и быстро скрылось.

– В которой избе живет Маркушка-старатель? – спросил Гордей Евстратыч, постукивая черенком нагайки в окно ближайшей избы.

В окне показалась бородатая голова в шапке; два тусклых глаза безучастно взглянули на Брагина и остановились. Не выпуская изо рта дымившейся трубки с медной цепочкой, голова безмолвно показала глазами направо, где стояла совсем вросшая в землю избенка, точно старый гриб, на который наступили ногой.

– Ну народец!.. – проворчал Гордей Евстратыч, слезая с лошади у Маркушкиной избы.

Архитектурной особенностью полдневских изб было то, что они совсем обходились без ворот, дворов и надворных построек. Ход в избу шел прямо с улицы. Только в виде роскоши кое-где лепились сколоченные на живую нитку крылечки. Где держали полдневцы лошадей – составляло загадку, как и то, чем они кормили этих лошадей и чем они топили свои избы.

Гордей Евстратыч окинул строгим хозяйским взглядом всю деревню и нигде не нашел ничего похожего на конюшни или поленницу дров. У некоторых изб валялось по бревну, от которых бабы по утрам отгрызали на подтопку дров, – вот и все. «Ну народец! – еще раз подумал Брагин. – В лесу живут, и ни одного полена не отрубят мужики...»

– Господи Иисусе Христе... – помолитвовался Гордей Евстратыч, отворяя низкую дверь, которая вела куда-то в яму.

– Аминь... – отдал из комнаты чей-то хриплый голос. – Это ты, Гордей Евстратыч?

– Я, Маркушко...

Послышалось тяжелое хрипенье, затем удушливый кашель. Гордей Евстратыч кое-как огляделся кругом: было темно, как в трубе, потому что изба у Маркушки была черная, то есть без трубы, с одной каменкой вместо печи. Вернее такую избу назвать балаганом, какие иногда ставятся охотниками в глухих лесных местах на всякий случай. На каменке тлело суковатое полено, наполнявшее избу удушливым едким дымом. Сам хозяин лежал у стены, на деревянных подмостках, прикрытый сверху лоскутами овчин, когда-то составлявших тулуп или полушубок. На гостя из-под кучи этой рвани глядело восковое отекшее лицо с мутным остановившимся взглядом, в котором едва теплилась последняя искра сознания. Мочального цвета бороденка, рыжие щетинистые усы и прилипшие к широкому лбу русые волосы дополняли портрет старателя Маркушки.

– Ну что, плохо тебе? – спрашивал Брагин, напрасно отыскивая глазами что-нибудь, на что можно было бы сесть.

Куча тряпья зашевелилась, раздался тот же кашель.

– Надо... надо... больно мне тебя надо, Гордей Евстратыч, – отозвалась голова Маркушки. – Думал, не доживу... спасибо после скажешь Маркушке... Ох, смерть моя пришла, Гордей Евстратыч!

– Надо за попом послать?

– Где уж... нет... вот уж я тебе все обскажу...

Гордей Евстратыч подкатил к дымившейся каменке какой-то чурбан и приготовился выслушать предсмертную исповедь старателя Маркушки, самого отчаянного из всех обывателей Полдневской.

– Видел жилку-то? – глухо спросил Маркушка, удерживая душивший его кашель.

– Видел...

– Ведь пятнадцать лет ее берег, Гордей Евстратыч... да... пуще глазу своего берег... Ну, да что об этом толковать!.. Вот что я тебе скажу... Человека я порешил... штегеря, давно это было... Вот он, штегерь-то, и стоит теперь над моей душой... да... думал отмолить, а тут смерть пришла... ну, я тебя и вспомнил... Видел жилку? Но богатство... озолочу тебя, только по гроб своей жизни отмаливай мой грех... и старуху свою заставь... в скиты посылай...

Опять приступ отчаянного кашля, точно Маркушка откашливал всю душу вместе с своими грехами.

– Так ты поклянешься мне, Гордей Евстратыч, и я тебе жилку укажу и научу, что с ней делать... Мне только и надо, чтобы мою душу отмолить.

– А ежели ты обманешь, Маркушка?

– Нет, Гордей Евстратыч... Ох, тошнехонько!.. нет, не обману... Не для тебя соблюдал местечко, а для себя... Ну, так поклянешься?

Брагин на минуту задумался. Его брало сомнение, притом он не ожидал именно такого оборота дела. С другой стороны, в этой клятве ничего худого нет.

– Ладно, поклянись...

– Иисусовой молитвой поклянись!

– Нет, Иисусовой молитвой не буду, а так поклянись... Мы за всех обязаны молиться, а если ты мне добро сделаешь – так о тебе особая и молитва.

– Думал я про Шабалина... – заговорил Маркушка после тяжелой паузы. – Он бы икону снял со стены... да я-то ему, кровопивцу, не поверю... тоже вот и другим... А тебя я давно знаю, Гордей Евстратыч... особенно твою мамыньку, Татьяну Власьевну... ее-то молитва доходнее к Богу... да. Так ты не хочешь Иисусовой молитвой себя обязать?

– Нет, Маркушка, это грешно... Хоть у кого спроси.

Больной недоверчиво посмотрел на своего собеседника, потому что все его богословские познания ограничились одной Иисусовой молитвой, запавшей в эту грешную душу, как падает зерно на каменную почву. После некоторых препирательств Маркушка согласился на простую клятву и жадными глазами смотрел на Гордея Евстратыча, который, подняв кверху два пальца, «обещавался» перед Богом отмаливать все грехи раба Божия Марка вплоть до своей кончины и далее, если у него останутся в живых дети. Восковое лицо покрылось пятнами пота от напряженного внимания, и он долго лежал с закрытыми глазами, прежде чем получил возможность говорить.

– Ну, слушай, Гордей Евстратыч... Робыли мы, пятнадцать годов тому назад, у купцов Девяткиных... шахту били... много они денег просадили на нее... я ходил у них за штегеря... на восемнадцатом аршине напали на жилку... а я сказал, что дальше незачем рыть... От всех скрыл... ну, поверили, шахту и бросили... Из нее я тебе жилку с Михалком послал...

– Отчего же ты сам не разрабатывал эту шахту, ведь Девяткины давно вымерли?

– Нельзя было... по малости ковырял, а чтобы настоящим делом – сила не брала, Гордей Евстратыч. Нашему брату несподручное дело с такой жилкой возиться... надо капитал... с начальством надо ладить... А кто мне поверит? Продать не хотелось: я по малости все-таки выковыривал из-под нее, а что мне дали бы... пустяк... Шабалин обещал двадцать целковых.

– Да ведь и мне настоящую жилку не дадут разрабатывать? – заметил Брагин, слушавший эту исповедь с побледневшим лицом.

– Не надо объявлять настоящей жилки, Гордей Евстратыч... а как Шабалин делает... россыпью объяви... а в кварце, мол, золото попадает только гнездами... это можно... на это и закона нет... уж я это знаю... ну надо замазать рты левизорам да инженерам... под Шабалина подражай...

– Хорошо, там увидим... Ты расскажи, где жилку-то искать?

– А вот как ее искать... Ступай по нашей Полуденке кверху... верстах в пяти в нее падает речка Смородинка... по Смородинке подашься тоже кверху, а в самой верхотине стоит гора Заразная... от Смородинки возьми на Заразную... тут пойдет увал... два кедра увидишь... тут тебе и жилка...

Гордей Евстратыч был бледен как полотно; он смотрел на отекавшее лицо Маркушки страшными, дикими глазами, выжидая, не вырвется ли еще какое-нибудь признание из этих посиневших и растрескавшихся губ. Но Маркушка умолк и лежал с закрытыми глазами как мертвый, только тряпье на подмостках продолжало с хрипом подниматься неровными взмахами, точно под ним судорожно билась ослабевшими крыльями смертельно раненная птица.

– Все? – спрашивал Брагин, наклоняясь к самому изголовью больного.

– Все... ах, еще вот что, Гордей Евстратыч... угости, ради Христа, водочкой наших-то... пусть погуляют...

Через полчаса в яме Маркушки собралось почти все население Полдневской, состоявшее из трех мужиков, двух баб и нескольких ребятишек. Знакомый уже нам мужик в шапке, потом высокий рыжий детина с оловянными глазами, потом кривой на левый глаз и хромой на правую ногу низенький мужичонка; остальные представители мужского населения находились в отсуствии. Две женщины, одетые в полинялые ситцевые сарафаны, походили на те монеты, которые вследствие долгого употребления утратили всякие следы своего чекана. Испитые, желтые, с одичавшим взглядом физиономии были украшены одними синяками; у одной такой синяк сидел под глазом, у другой на виске. Очевидно, эти украшения были сделаны опытной рукой,

не знавшей промаха. Вообще физиономии обеих женщин были покрыты массой белых царапин и шрамами самой причудливой формы, точно они были татуированы или расписаны какими-то не разгаданными еще наукой иероглифами.

– Славные ребята... – умилился Маркушка, любуясь собравшейся компанией. – Ты, Гордей Евстратыч, когда угости их водочкой... пусть не поминают лихом Маркушку... Так ведь, Окся?

Окся застенчиво посмотрела на свои громадные красные руки и хрипло проговорила:

– Тебе бы выпить самому-то, Маркушка... Может, облегчит...

Маркушка болезненно мотнул головой на эту ласку... Ведь эта шельма Окся всегда была настоящим яблоком раздора для полдневских старателей, и из-за нее происходили самые ожесточенные побоища: Маркушку тузил за Оксю и рыжий детина с оловянными глазами, и молчаливый мужик в шапке, и хромой мужичонка, точно так же как и он, Маркушка, тузил их всех при удобном случае, а все они колотили Оксю за ее изменчивое сердце и неискоренимую страсть к красным платкам и козловым ботинкам. Эта коварная женщина была замечательно непостоянное существо и как-то всегда была на стороне того, кому везло счастье. Теперь она от души жалела умиравшего Маркушку, потому что он уносил с собой в могилу не одни ботинки...

– Как же это вы живете здесь, – удивлялся Брагин, угощая собравшуюся компанию, – хлеба у вас нет, дров нет, а водка всегда есть...

– Нам невозможно без водки... – отрезал кривой мужичонко. – Так ведь, Кайло? Вот и Пестерь то же самое скажет...

Кайло – рыжий детина с оловянными глазами – и Пестерь – мужик в шапке – в знак своего согласия только поникли своими головами. Окся поощрительно улыбнулась оратору и толкнула локтем другую женщину, которая была известна на приисках под именем Лапухи, сокращенное от Олимпиады; они очень любили друг друга, за исключением тех случаев, когда козловые ботинки и кумачные платки настолько быстро охлаждали эту дружбу, что бедным женщинам ничего не оставалось, как только вцепиться друг в друга и зубами и ногтями и с визгом кататься по земле до тех пор, пока чья-нибудь благодетельная рука не отрезвляла их обеих хорошим подзатыльником или артистической встряской за волосы. Около Лапухи жалось странное существо: на вид это была девочка лет двенадцати, еще с несложившимися, детскими формами, с угловатой спиной и тонкими босыми ногами, но желтое усталое лицо с карими глазами смотрело не по-детски откровенно, как смотрят только отведавшие от древа познания добра и зла.

– На, пей, Домашка... – говорила Лапуха, передавая Домашке недопитый стакан водки.

– Зачем ты ее поишь? – спросил Гордей Евстратыч.

– Да ведь Домашка-то мне, поди, дочь! – удивленно ответила в свою очередь чадолюбивая Лапуха.

– Домашка у нас молодец... – отозвался с своего ложа Маркушка. – Налей и ей стаканчик, Гордей Евстратыч... ей тоже без водки-то невозможно...

Пестерь и Кайло покосились на разнежившегося Маркушку, но промолчали, потому что водка была Гордея Евстратыча, а право собственности в этой жидкой форме для них было всегда священным. Домашка выпила налитый стаканчик и кокетливо вытерла свои детские губы худой голой рукой с грязным локтем, выглядывавшим в прореху заношенной ситцевой рубахи. Рбспитая четверть водки скоро заметно оживила все общество, особенно баб, которые сидели с осоловелыми глазами и заметно были расположены затянуть какую-нибудь бесшабашную приисковую песню. Домашка хихикала без всякой видимой причины и тут же закрывала свое лицо порванным рукавом рубахи. Кайло и кривой мужичонко, которого звали Потапычем, тоже повеселели и все упрасивали благодетеля Маркушку в качестве всеисцеляющего средства выпить хоть стаканчик; но груда тряпья, изображавшая теперь знаменитого питуха,

только отрицательно вздрагивала всеми своими лоскутьями. Один Пестерь делался все мрачнее и мрачнее, а когда бабы не вытерпели и заголосили какую-то безобразную пьяную песню, он, не выпуская изо рта своей трубки с медной цепочкой, процедил только одно слово: «У... язвы!..» Кто бы мог подумать, что этот свирепый субъект являлся самым живым источником козловых ботинок и кумачных платков, в чем убедилась личным опытом даже Домашка, всего третьего дня получившая от Пестеря зеленые стеклянные бусы.

– Так уж ты тово... не забывай их... – хрипел Маркушка, показывая глазами на пьяных старателей, когда Брагин начал прощаться.

О себе Маркушка не заботился: ему больше ничего было не нужно, кроме «доходной к Богу» молитвы Татьяны Власьевны.

IV

Вернувшись домой, Гордей Евстратыч, после обычного в таких случаях чаепития, позвал Татьяну Власьевну за собой в горницу. Старуха по лицу сына заметила, что случилось что-то важное, но что именно – она никак не могла разгадать.

– Ты спрашивала меня, мамынька, зачем я поехал в Полдневскую, – заговорил Гордей Евстратыч, припирая за собой дверь. – Вот, погляди, какую игрушку добыл...

С последними словами он подал матери кусок кварца, который привез еще Михалко. Старуха нерешительно взяла в руку «игрушку» и, отнеся далеко от глаз, долго и внимательно рассматривала к свету.

– Никак золото... – недовольным голосом заметила она, осторожно передавая кусок кварца обратно.

– Да, мамынька... настоящее червонное золото, – уже шепотом проговорил Гордей Евстратыч, оглядываясь кругом. – Бог его нам послал... видно, за родительские молитвы.

– Что-то невдомек мне будет, милушка.

Гордей Евстратыч рассказал всю историю лежавшего на столе кварца: как его привез Михалко, как он не давал спать целую ночь Гордею Евстратычу, и Гордей Евстратыч гонял в Полдневскую и что там видел.

– Вот поклялся-то напрасно, милушка... – строго проговорила старуха, подбирая губы. – Этакое дело начинать бы да не с клятвы, а с молитвы.

– Ах, мамычка, мамычка! Ну, ежели бы я не поклялся Маркушке, – тогда что бы вышло? Умер бы он с своей жилкой или рассказал о ней кому-нибудь другому... Вон Вукол-то Логиныч уже прослышал о ней и подсылал к Маркушке, да только Маркушка не захотел ему продавать.

– Ишь ведь какой дошлый, этот Вуколко! – со злостью заговорила Татьяна Власьевна, припоминая семидесятирублевый зонтик Шабалина. – Уж успел пронюхать... Да ты верно знаешь, милушка, что Маркушка ничего не говорил Вуколу?

– Вернее смерти, потому – Маркушка сам мне говорил...

– А вот ты сам-то небось не догадался заставить Маркушку тоже клятву на себя наложить? Как он вдруг да кому-нибудь другому перепродает жилку... тому же Вуколу.

– Нет, мамынька... Маркушка-то в лежку лежит, того гляди, Богу душу отдаст. Надо только скорее заявку сделать на эту самую жилку, и кончено...

– Как же это так вдруг, милушка... – опять нерешительно заговорила Татьяна Власьевна. – Как будто даже страшно: всё торговали, как другие, а тут золото искать... Сколько на этом золоте народишку разорилось, хоть тех же Кутневых взять.

– А у Вукола вон какой домина схлопан – небось, не от бедности! Я ехал мимо-то, так загляденье, а не дом. Чем мы хуже других, мамынька, ежели нам Господь за родительские молитвы счастье посылает... Тоже и насчет Маркушки мы все справим по-настоящему, неугасимую в скиты закажем, сорокоусты по единоверческим церквам, милостыню нищей братии, ну, и ты кануны будешь говорить. Грешный человек, а душа-то в нем христианская. Вот и будем замаливать его грехи...

– Уж это что говорить, милушка... Вукол-то не стал бы молиться за него. Только все-таки страшно... И молитва там, и милостыня, и сорокоуст – все бы ничего, а как подумаю об золоте, точно что у меня оборвется. Вдруг-то страшно очень...

– Ну, тогда пусть Вуколу достается наша жилка, – с сдержанной обидой в голосе заговорил Гордей Евстратыч, начиная ходить по своей горнице неровными шагами. – Ему небось ничего не страшно... Все слопают. Вон лошадь у него какая: зверина, а не лошадь. Ну, ему и наша жилка к рукам подойдет.

– Да разве я говорю, что жилку Вуколу отдать? – тоже с раздражением в голосе заговорила старуха, выпрямляясь. – Надо подумать, посоветоваться.

– С кем же это, мамынька, советоваться-то будем? Сами не маленькие, слава богу, не двух по третьему...

– С отцом Крискентом надо поговорить, потом с Савиными, с Колобовыми.

– Ну уж, мамынька, этого не будет, чтобы я с Савиными да с Колобовыми стал советовать в таком деле. С отцом Крискентом можно побеседовать, только он по этой части не ходок...

Старшая невестка, Ариша, была колобовской «природы», а младшая, Дуня, – савиновской, поэтому Татьяну Власьевну немного задело за живое то пренебрежение, с каким Гордей Евстратыч отнесся к своей богоданной родне, точно он боялся, что Колобовы и Савины отнимут у него проклятую жилку. Взаимное раздражение мешало сторонам понимать друг друга, и каждый думал только о том, что он прав. «Старик-то Колобов, Самойло-то Микеич, вон какой голова, – рассуждала про себя Татьяна Власьевна. – Недаром два раза в волостных старшинах сидел... Тоже и Кондрат Гаврилыч Савин уважительный человек, а про старуху Матрену Ильинишну и говорить нечего: с преосвященным владыкой в третьем годе как пошла отчитывать по Писанию, только на, слушай. Чем не родня». Гордей Евстратыч ходил из угла в угол по горнице с недовольным, надутым лицом; ему не нравилось, что старуха отнеслась как будто с недоверием к его жилке, хотя, с другой стороны, ему было бы так же неприятно, если бы она сразу согласилась с ним, не обсудив дела со всех сторон. Одним словом, в результате получалось какое-то тяжелое недоразумение, благодаря которому Гордей Евстратыч ни за что ни про что обидел своих сватовьев, Савиных и Колобовых, и теперь сердился еще больше, потому что сам был виноват кругом. Татьяна Власьевна пришла в себя скорее сына и, взглянув на него пытливо, решительно проговорила:

– А я вот что тебе скажу, милушка... Жили мы, благодарение Господу, в достатке, все у нас есть, люди нас не обегают: чего еще нам нужно? Вот ты еще только успел привезти эту жилку в дом, как сейчас и начал вздорить... Разве это порядок? Мать я тебе или нет? Какие ты слова с матерью начал разговаривать? А все это от твоей жилки... Погляди-ко, ты остребенился на сватьев-то... Я своим умом так разумею, что твой Маркушка колдун, и больше ничего. Осинovým колом его надо отмаливать, а не сорокоустом...

– Мамынька, ради Христа, прости меня дурака... – взмолился опомнившийся Гордей Евстратыч, кланяясь старухе в ноги. – Это я так... дурость нашла.

– Надо повременить, Гордей Евстратыч.

– Как знаешь, мамынька. И Маркушка про тебя говорил, что на твою молитву надеется...

– Ну, это уж он напрасно: какие наши молитвы. Сами по колено бродим в своих-то грехах.

Обдумывая все случившееся наедине, Татьяна Власьевна то решала про себя бросить эту треклятую жилку, то опять жалела ее, представляя себе Шабалина с семидесятирублевым зонтиком в руках. В ее старой, крепкой душе боролись самые противоположные чувства и мысли, которые утомляли ее больше, чем ночная работа с кирпичами, потому что от них не было блаженного отдыха, не было того покоя, какой она испытывала после ночного подвига. Вечером Татьяна Власьевна напрасно молилась в своей комнате с особенным усердием, чтобы отогнать от себя тревожное настроение. Она чувствовала только, что с ней самой творится что-то странное, точно она сама не своя сделалась и теряла всякую волю над собой. Такое состояние продолжалось дня два, так что, удрученная неожиданно свалившейся на ее плечи заботой, Татьяна Власьевна чуть не заболела, пока не догадалась сходить к о. Крискенту, к своему главному советнику во всех особенно трудных случаях жизни. В качестве духовника о. Крискент пользовался неограниченной доверенностью Татьяны Власьевны, у которой от него не было тайн.

Славный домик был у о. Крискента. Он выходил в Гнилой переулок, как мы уже знаем из предыдущего, и от брагинского дома до него было рукой подать. Наружный вид поповского

дома невольно манил к себе своей патриархальной простотой; его небольшие окна глядели на Гнилой переулочек с таким добродушным видом, точно приглашали всякого непременно зайти к милому старичку о. Крискенту, у которого всегда были в запасе такие отличные наливки. Калитка вела на маленький двор с деревянным полом и уютно поставленными службами; выкрашенное зеленой краской крыльцо вело в сени, где всегда были настланы чистые половики. В маленькой передней уже обдавало тем специально благочестивым запахом, какой священники уносят с собой из церкви в складках платья; пахло смешанным запахом ладана и воска, и, может быть, к этому примешивался аромат княженичной наливки, которую о. Крискент гордился в особенности.

– А... дорогая гостья! Сколько лет, сколько зим не видались, – приветствовал радостно о. Крискент, встречая гостью в уютной чистенькой гостиной, походившей на приемную какой-нибудь настоятельницы монастыря.

Стены были выкрашены зеленым купоросом; с потолка спускалась бронзовая люстра с гранеными стеклышками. На полу лежали мягкие тропинки. Венские стулья, два ломберных стола, несколько благочестивых гравюр на стенах и китайский розан в зеленой кадучке дополняли картину. Сам о. Крискент – низенький, юркий старичок, с жиденькими косицами и тоненьким разбитым тенорком, – принадлежал к симпатичнейшим представителям того типа батюшек, который специально выработался на уральских горных заводах, где священники обеспечены известным жалованьем, а потом возвращаются в более развитой среде, чем простые деревенские попы. Ходил о. Крискент маленькими торопливыми шажками, неожиданно повертывался на каблуках и имел странную привычку постоянно расстегивать и застегивать пуговицы своего подрясника, отчего петли обнашивались вдвое скорее, чем бы это следовало. Маленькая головка о. Крискента, украшенная редкими волосиками с проседью и таковой же бородкой, глядела кругом пронизательными темными глазками, которые постоянно улыбались, – особенно когда из гортани о. Крискента вырывался короткий неопределенный смешок. Сам по себе батюшка был ни толст, ни тонок, а так себе – середка на половине. Жил он в своем домике старым бездетным вдовцом, каких немало попадает среди нашего духовенства. Тот запас семейных инстинктов, которыми природа снабдила о. Крискента, он всецело посвятил своей пастве, ее семейным делам, разным напастям и невзгодам интимного характера. Благочестивые старушки вроде Татьяны Власьевны очень любили иногда завернуть к о. Крискенту и покалякать со стариком от свободности о разных сомнительных предметах, тем более что о. Крискент в совершенстве владел даром разговаривать с женщинами. Он никогда не употреблял резких выражений, как это иногда делают слишком горячие ревнители-священники, когда дело коснется большого греха, но вместе с тем он и не умалял проступка; затем он всегда умел вовремя согласиться – это тоже немаловажное достоинство. Наконец, вообще в о. Крискенте привлекал неотразимо к себе тот дух общего примирения и незлобия, какой так обаятельно действует на женщин: они уходили из его домика успокоенные и довольные, хотя, собственно, о. Крискент никогда ничего не говорил нового, а только соглашался и успокаивал уже одним своим видом. Роль этого добродушного человека, в сущности, сводилась к тому, что он, как некоторые механические приспособления, собственной особой устранял и смягчал разные неизбежные житейские столкновения, углы и диссонансы.

– Садитесь, Татьяна Власьевна... Ну, как вы поживаете? – говорил о. Крискент, усаживая свою гостью на маленький диванчик, обитый зеленым репсом. – Все к вам собираюсь, да как-то руки не доходят... Гордея-то Евстратыча частенько вижу в церкви.

– А я пришла к вам по делу, отец Крискент... – заговорила Татьяна Власьевна, поправляя около ног свой кубовый сарафан. – И такое дело, такое дело вышло – дня два сама не своя ходила. Просто места не могу себе найти нигде.

– Так, так... Конечно, бывают случаи, Татьяна Власьевна, – мягко соглашался о. Крискент, расправляя свою бородку веером. – Человек предполагает – Бог располагает. Это уж не от

нас, а свыше. Мы с своей стороны должны претерпевать и претерпевать... Как сказал апостол: «Претерпевый до конца, той спасен будет...» Именно!

Поместившись в другом углу дивана, о. Крискент внимательно выслушал все, что ему рассказала Татьяна Власьева, выкладывая свои сомнения в этой маленькой комнатке всегда с особенной охотой, испытывая приятное чувство облегчения, как человек, который сбрасывает с плеч тяжелую ношу.

– Чего же вы хотите, то есть, собственно, что вас смущает? – спрашивал о. Крискент, когда Татьяна Власьева рассказала все, что сама знала о жилке и о своем последнем разговоре с сыном.

– Я боюсь, отец Крискент... Сама не знаю, чего боюсь, а так страшно делается, так страшно. Как-то оно вдруг все вышло...

– Так, так... Конечно, богатство – источник многих злоключений... особенно при наших слабостях, но, с другой стороны, Татьяна Власьева, на богатство можно смотреть с евангельской точки зрения. Припомните евангельскую притчу о рабе, получившем десять талантов и приумножившем оные? Не так ли мы должны поступать? Если даже человек, который «зле приобретох, по добре расточих», примет свою часть в Царствии Небесном, тем паче войдут в него добре потрудившиеся на ниве Господней... Я лично смотрю на богатство как на испытание.

Добрый старик говорил битый час на эту благодарную тему, причем опровергал несколько раз свои же доводы, повторялся, объяснял и снова запутывался в благочестивых дебрях красноречия. Такие душеспасительные разговоры, уснащенные текстами Священного Писания, производили на слушательниц о. Крискента необыкновенно успокаивающее действие, объясняя им непонятное и точно преисполняя их той благодатью, носителем которой являлся в их глазах о. Крискент.

– А зачем Гордей-то Евстратыч так остребенился на меня, как только мы заговорили об этой жилке? – спрашивала Татьяна Власьева, по своей женской слабости постоянно возвращавшаяся от самых возвышенных умозрений к заботам и мелочам моря житейского. – Это от одного разговору, отец Крискент! А что будет, ежели и в самом-то деле эта жилка богатая окажется... Сумлеваюсь я очень насчет этих полдневских и насчет Маркушки особливо сумлеваюсь. Самый был потерянный человек и вдруг накинул на себя это такое благочестие... Может, на жилке-то заклятье какое наложено, отец Крискент?..

– Ах, уж это вы даже совсем напрасно, Татьяна Власьева: на золоте не может быть никакого заклятья, потому что это плод земли, а Бог велел ей служить человеку на пользу... Вот она и служит, Татьяна Власьева! Только каждому своя часть, и всякий должен быть доволен своей частью... Да!..

Специально в денежных делах о. Крискент отличался особенной мягкостью и податливостью, а тут выпадало такое редкое, единственное в своем роде счастье. Рядом с теоретическими построениями в голове о. Крискента вырастали самые практические соображения: разбогатеет Гордей Евстратыч, тогда его можно будет выбрать церковным старостой, и он, конечно, отщедрот своих и послужит. Вот кончат стены в новой церкви, нужно будет иконостас заводить, ризницу подновлять – да мало ли расходов найдется!.. Эти мысли подкрепляли о. Крискента все больше и больше, и он возвысился до настоящего красноречия, когда принялся доказывать Татьяне Власьевне, что она даже не вправе отказываться от посылаемого самим Богом богатства.

– Пути Божии неисповедимы, Татьяна Власьева.

– Мне опять то в голову приходит, отец Крискент, – говорила в раздумье Татьяна Власьева, – если это богатство действительно посылает Бог, то неужели не нашлось людей лучше нас?.. Мало ли бедных, милостивцев, отшельников...

– Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна... Так нельзя рассуждать. Разве мы можем своим слабым умом проникать в планы и намерения Божии? Что такое человек? Персть, прах... Да. Еще раз повторяю: нужно покоряться и претерпевать, а не мудрствовать и возвышаться прегордым умом.

Впрочем, на прощанье, когда о. Крискент провожал Татьяну Власьевну в переднюю, он переменял тон и заговорил о тленности всего земного и человеческой гордости, об искушениях врага человеческого рода и слабости человека.

– Так, по-вашему, отец Крискент, лучше отказаться от жилки? – переводила на свой язык Татьяна Власьевна высокоумствования батюшки.

– О нет, я этого не сказал, как не сказал и того, что нужно брать жилку...

– Что же нам теперь делать?

Отец Крискент только развел руками, что можно было истолковать как угодно. Но именно последние-то тирады батюшки, которые как будто клонились к тому, чтобы отказаться от жилки, собственно, и убедили Татьяну Власьевну в необходимости «покориться неисповедимым судьбам Промысла», то есть в данном случае взять на себя Маркушкину жилку, пока Вукол Логинич или кто другой не перехватил ее.

– Заметьте, Татьяна Власьевна, я не говорил: «берите жилку» и не говорил – «откажитесь»... – ораторствовал батюшка, в последний раз с необыкновенной быстротой расстегивая и застегивая аметистовые пуговицы своего камлотового подрясника. – Ужо как-нибудь пошлите ко мне Гордея-то Евстратыча, так мы покалякаем с ним по малости. Ну а как ваша молодайка, Дуня?

– Слава богу, отец Крискент, слава богу... Скромная да тихая, воды не замутит, только, кажется, ленивенькая, Христос с ней, Богородица... Ну, да обойдется помаленьку. Ариша, та уж очень бойка была, а тоже уходилась, как Степушку Бог послал.

– Слава богу, слава богу... – повторял о. Крискент, как эхо.

Но Гордей Евстратыч не пошел к о. Крискенту, как его ни упрашивала об этом Татьяна Власьевна. Для окончательного решения вопроса о жилке был составлен небольшой семейный совет, в котором пригласили принять участие и Зотушку. В исключительных случаях это всегда делалось, потому что такой порядок был заведен исстари. Зотушка являлся в «горнице» с смиренным видом, садился в уголок и смиренно выслушивал, как набольшие умные речи разговаривают. Настоящий совет состоял из трех лиц: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч и Зотей Евстратыч. Зотушка хотя и был пьяница, но и у него ум-то не телята отжевали, притом своя кровь.

– Так вот, Зотей, какое дело-то выходит, – говорил Гордей Евстратыч, рассказав все обстоятельства по порядку. – Как ты думаешь, брать жилку или не брать?

Зотушка разгладил свои косицы на макушке, вытянул шею и ответил:

– А по моему глупому разуму, Гордей Евстратыч, неладное вы затеяли... Вот что!.. Жили, слава богу, и без жилки, проживем и теперь... От этого золота один грех...

Никто не ожидал такого протеста со стороны Зотушки, и большаки совсем онемели от изумления. Как, какой-нибудь пропоец Зотушка и вдруг начинает выговаривать поперечные слова!.. Этот совет закончился позорным изгнанием Зотушки, потому что он решительно ничего не понимал в важных делах, и решение состоялось без него. Татьяна Власьевна больше не сумлевалась, потому что о. Крискент прямо сказал и т. д.

– Только поскорее... – торопила теперь старуха. – Как бы Вукол-то не заграбастал нашу жилку...

V

На Урале завод Белоглинский славился как один из самых старинных заводов, на котором еще уцелели такие фамилии, как Колобовы, Савины, Шабалины и т. д. Это были крепкие семьи старинного покроя; они могли сохраниться в полной неприкосновенности только в такой уральской глуши, куда был заброшен Белоглинский завод. Раскол здесь свил себе теплое гнездо, и австрийские архиереи особенно любили Белую Глинку, где всегда находили самый радушный прием и могли скрываться от «ревности» полиции и православных миссионеров. Отсюда вышли все эти Кутневы, Сиговы и Девяткины, которые прославились своим богатством и широкой жизнью; отсюда же брали невест, чтобы освежить вырождавшиеся семьи столичных купеческих фирм. Слава белоглинских красавиц-староверок гремела далеко, и гремела недаром: невесты были на подбор – высокие, белые, толстые, глазастые, как те племенные телки, которые «идут только на охотника». У Колобовых были две дочери, кроме Ариши, и обе вышли за купцов в Нижний; у Савиных, кроме Дуни, была дочь за рыбинским купцом-миллионером; Груня Пятова в Москву вышла, Настя Шабалина в Сарапуль... У этих Шабалиных был настоящий куст из невест, да из каких невест – все купечество о них говорило на Ирбитской, в Нижнем, в Крестах. Все разошлись по рукам, а дома не осталось никого даже на поглядочку. Савины да Колобовы, те догадались – по одной дочке оставили на своих глазах, то есть выдали за брагинских ребят. Брагинская семья тоже была настоящая семья, хотя и не из богатых. Но важно было то, что хоть одна дочь на глазах; не ровен час, попритчилось что старикам, так есть кому глаза закрыть. Ни Михалке Брагину, ни Архипу в жисть свою не видать бы как своих ушей таких красавиц-жен, ежели бы не был такой стариковский расчет да не пользовалась бы Татьяна Власьева всеобщим почетом за свою чисто иноческую жизнь.

– Мы этих на племя оставили, – шутили старики Колобовы и Савины, – а то ростим-ростим девок, глядишь, всех и расхватили в разные стороны... Этак, пожалуй, всю нашу белоглинскую природу переведут до конца!

Теперь из завидных белоглинских невест оставались только Феня Пятова, да Ньюша Брагина, да еще у Шабалиных, у брата Вукола Логиныча, подрастала разная детвора, так как там начинали выравниваться три девчонки.

Таков был Белоглинский завод, и недаром гордились им белоглинцы, крепко держась за свои стародавние уставы и житейские «свычай». Жили крепко, по-старинному, до новшества было мало охотников, а на таких отщепенцев, как Вукол Логиныч, смотрели как на людей совсем пропащих. Были и такие примеры: завертится человек, глядишь – и пропал. Хоть взять тех же Кутневых и Девяткиных – весь род пошел на перевод, потому что захотели жить по-новому, по-модному. Белоглинцы были глубоко предубеждены против «прелестей» новой модной жизни, которая уже поглотила многих.

Мы уже сказали, что семья Брагиных была не из богатых, потому что торговля «панским товаром» особенно больших выгод не могла доставить сравнительно с другими отраслями торговли. Слабое место заключалось в известной моде на известные товары, которая проникла и в Белоглинский завод. Белоглинские бабы разбирали нарасхват то кумачи, то кубовые ситцы, то какой-то «немецкий узор» и ни за что не хотели покупать никаких других, являлись остатки и целые штуки, вышедшие совсем из моды, которые и гнили на верхних полках, терпеливо ожидая моды на себя или неприхотливых покупателей. Впрочем, и на эту «браковку» был сбыт, хотя довольно рискованный, именно этот завалившийся товар пускали в долг по деревням, где влияние моды чувствовалось не в такой степени, как в Белоглинском заводе. Такими покупателями, между прочим, являлись все приисковые, и в том числе, конечно, обитатели Полдневской на первом плане.

– Уж брошу же я эти панские товары! – в сотый раз говорил Гордей Евстратыч, когда в конце торгового года с Ньюшей «сводил книгу», то есть подсчитывал общий ход своих торговых операций. – Просто житья не стало... Эти проклятые бабенки точно белены объедятся: подавай им желтого, да еще не желтого, а «ранжевого». А куда я с другим товаром денусь? Ведь за него не щепки, а деньги давали. Ничего не сообразишь с этими бабами. То ли дело хлебом или железом торговать: всегда одна мода и остатков да обрезков не полагается. Вот уж брошу эту панскую торговлю да займусь хлебом. Вон Пазухины живут себе как у Христа за пазухой, не принимают от баб муки мученической.

– Тоже и с хлебом всяко бывает, – степенно заметит Татьяна Власьевна. – Один год мучка-то ржаная стоит полтина за пуд, а в другой и полтора целковых отдашь... Не вдруг приноровишься. Пазухины-то в том году купили этак же дорогого хлеба, а цена-то и спала... Четыреста рубликов из кармана.

– А все-таки, мамынька, я брошу этот панский товар.

Но все в брагинском доме отлично знали, что Гордею Евстратычу не расстаться с панской торговлей, потому что эта торговля батюшкой Евстратом Евстратычем ставилась, а против батюшки Гордей Евстратыч не мог ни в чем идти. «Батюшко говорил», «батюшко велел», «батюшко наказывал» – это было своего рода законом для всего брагинского дома, а Гордей Евстратыч резюмировал все это одной фразой: «Поколь жив, из батюшкиной воли не выйду». И действительно, все в брагинском доме творилось в том самом виде, как было при батюшке Евстрате Евстратыче. Покрой платья, кушанья, взаимные отношения, семейные праздники, торговля, привычки, поверья – все оставалось в том виде, в каком осталось от батюшки. Это был целый культ предкам в лице одного батюшки. Так, посредине дома стояла громадная «батюшкина печь» величиною с целую комнату; ее топили особенными полторааршинными дровами, причем она страшно накаливалась и грозила в одно прекрасное утро пустить на ветер весь батюшков дом. Все уговаривали Гордея Евстратыча переделать эту печь и поставить на ее место обыкновенную кухонную, а затем другую, «голанку», – и места бы много очистилось, да и дров пошло бы вдвое меньше.

– В самом деле, Гордей Евстратыч, – уговаривал упрямого старика даже о. Крискент, – вот у меня на целый дом всего две маленьких печи – и тепло, как в бане. Вот бы вам...

– Это батюшкову-то печь ломать? – изумлялся каждый раз Гордей Евстратыч. – Что вы, что вы, отец Крискент... Нет, этому не бывать, потому это какая печь – батюшка-то сам ее ставил. Теперь мне пятьдесят три года, а я еще ни одного кирпича в ней не поправлял. Разве нынче умеют такие кирпичи делать? Вон у вас на церковь делают кирпичи: весу в нем четыре фунта, а пальцем до него дотронулся – он сам и крошится, как сухарь. А батюшкины кирпичи по двенадцати фунтиков каждый и точно вылитые из чугуна... Нет, я батюшкиной печи не потрону, отец Крискент. Вот умру, тогда дети, ежели захотят умнее отца быть, пусть ломают батюшкову печь...

– Да, оно, конечно... пожалуй... нынешние кирпичи ничего не стоят, – соглашался о. Крискент.

Сам Гордей Евстратыч ходил на двенадцатифунтовый кирпич из батюшковой печи: он так же крепко выдерживал все житейские передраги, соблазны и напасти. Это был замечательно выдержанный, ровный и сосредоточенный характер, умевший делать уступки только для других, а не для себя. Все, что ни делал Гордей Евстратыч, он делал с тем особенным достоинством, с каким делали свои дела старинные люди. По-видимому, самые ничтожные действия домашнего обихода для него были преисполнены великого внутреннего смысла. Например, чего проще выпить чаю? А между тем у Гордея Евстратыча из этого заурядного проявления вседневной жизни составлялась настоящая церемония: во-первых, девка Маланья была обязана подавать самовар из секунды в секунду в известное время – утром в шесть часов и вечером в пять; во-вторых, все члены семьи должны были собираться за чайным столом; в-третьих,

каждый пил из своей чашки, а Гордей Евстратыч из батюшкова стакана; в-четвертых, порядок разливания чая, количество выпитых чашек, смотря по временам года и по значениям постных или скоромных дней, крепость и температура чая – все было раз и навсегда установлено, и никто не смел выходить из батюшкова устава. В будни это чаевание имело деловой сосредоточенный характер, а в праздники, особенно в разговенья, превращалось в настоящее торжество. Пить чай Гордей Евстратыч любил до страсти и выпивал прямо из-под крана десять стаканов самого крепкого чая, иначе не садился за стол, даже в гостях, потому что не любил недоканчивать начатого дела. «Чай разбивает кровь», – говорил Гордей Евстратыч, вытирая катившийся с лица пот особым полотенцем. Обеды и ужины проходили еще торжественнее чаевания, как и вообще весь домашний распорядок. Больше всего ненавидел в людях Гордей Евстратыч торопливость, потому что кто торопится, тот, по его мнению, всегда плохо делает свое дело и потом непременно обманет. Каким путем вязалось последнее заключение с торопливостью – оставим на совести самого Гордея Евстратыча, который всегда говорил, что торопливого от плута не различить. По всей вероятности, это наблюдение было унаследовано от батюшкиных заветов.

Как семьянин Гордей Евстратыч был безупречный человек; он ко всем относился одинаково ровно, судил только после основательного рассмотрения проступка, не любил дрызг и ссор и во всем прежде всего домогался спокойного порядка. Овдовев рано, он не женился во второй раз для детей, которых и воспитывал по батюшкиным строгим заветам, не давая потачки в важном и не притесняя напрасно в мелочах. Крику и шуму он не выносил вообще, а все делал с повадкой, степенно, почему и недолюбливал нынешних модных людей, которые суются в делах, как угорелые. Но зато с старинными людьми Гордей Евстратыч обращался так важевато, что удивлял даже самых древних стариков. Особенно хорош бывал Гордей Евстратыч по праздникам, когда являлся в свою единоверческую церковь, степенно клал установленный «начал» с подрушником в руках, потом раскланивался на обе стороны, выдерживал всю длинную службу по ниточке и часто поправлял дьячков, когда те что-нибудь хотели пропустить или просто забалтывались. В двенадцатые праздники он становился на клирос и пел свежим тенором по крюкам, которые постиг в совершенстве еще под батюшковым руководством. Так же себя держали Колобовы, Савины и Пазухины, перешедшие в единоверие, когда австрийские архиереи были переловлены и рассажены по православным монастырям, а без них в раскольничьем мире, имевшем во главе старцев и стариц, начались бесконечные междоусобия, свары и распри. Только Шабалины продолжали упорно держаться древнего благочестия, несмотря на всевозможные внешние и внутренние запинания, хотя и не избегали благословенных церковников, как они называли единоверцев.

Но как строго ни соблюдал себя и свою жизнь Гордей Евстратыч, – он являлся только выразителем ее внешней стороны, а самый дух в доме поддерживался Татьяной Власьевной, которая являлась значительной величиной в своем кругу. Никто лучше не знал распорядков, свечаев и обычаев старинного житья-бытья, которое изобрело тысячи церемоний на всякий житейский случай, не говоря уже о таких важных событиях, как свадьбы, похороны, родины, разные семейные несчастья и радости. К Татьяне Власьевне шли за советом и указанием по всякому поводу, и она никому не умела отказать, даже самому Вуколу Логинычу, если бы он пришел к ней. Кроме этого, она славилась как известная постница, богомолка и начетчица, а затем как тайная благодетельница. Конечно, под началом такого человека жизнь в брагинском доме текла самым образцовым порядком, на поученье всем остальным. Несмотря на свои малые достатки, Татьяна Власьевна всегда ухитрялась прокармливать у себя во флигельке пять-шесть бесприютных старушек. Вообще это была типичная представительница раскольничьей старухи, заправлявшей всем домом, как улитка своей раковиной. Быть в меру строгой и в меру милостивой, уметь болеть чужими напастями и не выдавать своих, выдерживать характер даже в микроскопических пустяках, вообще задавать твердый и решительный тон не

только своему дому, но и другим – это великая наука, которая вырабатывалась в раскольничьих семьях веками.

К снохам Татьяна Власьевна относилась, как к родным дочерям, и они походили под ее началом на двух сестер, потому что всегда одевались одинаково, чем приводили в глубокое умиление истинных почитателей старины. Белокурая красавица Ариша и высокая полная Дуня, когда шли в церковь в одинаковых шелковых платочках и в таких же сарафанах с настоящим золотым позументом, действительно представляли умилительное зрелище. И мужья у них были славные. Конечно, Михалко немного был тяжел характером, лишку не разговорится, но парень основательный и всем делом мог один заправлять; Архипу всего еще минуло девятнадцать лет, и он хотя был женатый человек, но в своей семье находился на положении подростка. С него большой работы и не спрашивалось; лишь бы присматривался около отца да около старшего брата, а там в годы войдет, так и сам других поучит. Только вот характером Архип издался ни в мать, ни в отца, ни в бабушку, а как-то был сам по себе: все ему нипочем, везде по колено море. Чтобы малый не избаловался, Татьяна Власьевна нарочно и женила его раньше, да и жену ему выбрала тихую, чтобы мужа удерживала. Снохи втягивались в порядки брагинского дома исподволь и незаметно делались его неотъемлемой составной частью, как члены одного живого организма.

Вообще невестками своими, как и внуками, Татьяна Власьевна была очень довольна и в случае каких недоразумений всегда говорила: «Ну, милушка, час терпеть, а век жить...» Но она не могла того же сказать о невитом сене, Нюше, характер которой вообще сильно беспокоил Татьяну Власьевну, потому что напоминал собой нелюбимую дочь-модницу, Алену Евстратовну. Конечно, последнего осторожная старуха никому не высказывала, но тем сильнее мучилась внутренно, хотя Нюша сама по себе была девка шелк шелком и из нее подчас можно было веревки вить.

– Ох, мудреная ты моя головушка, – иногда говорила Татьяна Власьевна, когда Нюша с чем-нибудь приставала к ней. – Как-то ты жить-то на белом свете будешь?

– А так и буду... Если бранить будешь, в скиты уйду к Шабалиным.

– Ах, ну тебя совсем... Вот ужо услышит отец-то, так он тебя за косу.

Вообще брагинская семья была самой образцовой, как полная чаша, и даже модница Алена Евстратовна и пьяница Зотушка не ставились в укор Татьяне Власьевне, потому что в семье не без уroda.

Судьба Зотушки, любимого сына Татьяны Власьевны, повторяла собой судьбу многих других любимых детей – он погиб именно потому, что мать не могла выдержать с ним характера и часто строжила без пути, а еще чаще миловала. Способный, живой ребенок скоро понял мать, а потом забрал и свою волю, которая и привела его к роковой первой рюмочке. Приспособляли Зотушку к разным занятиям, но из этого ничего не вышло, и Зотушка остался просто при домашности, говоря про себя, что без него, как без поганого ведра, тоже не обойдешься... Вместо настоящего дела Зотушка научился разным художествам: отлично стряпал пряники, еще лучше умел гонять голубей, знал секреты разных мазей, имел вообще легкую руку на скота, почему и заведовал всей домашней скотиной, когда был «в себе», обладал искусством ругаться с стряпкой Маланьей по целым дням и т. д., и т. д.

VI

С угла на угол от брагинского дома стоял пятистенный дом Пазухиных, семья которых состояла всего из трех членов – самого хозяина Силы Андронича, его жены Пелагеи Миневны и сына Алексея. В их же доме проживала старая родственница с мужней стороны, девица Марфа Петровна; эта особа давно потеряла всякую надежду на личное счастье, поэтому занималась исключительно чужими делами и в этом достигла замечательного искусства, так что попасть на ее острый язычок считалось в Белоглинском заводе большим несчастьем вроде того, если бы кого продернули в газетах.

– А у Брагиных-то не того... – заметила однажды Марфа Петровна, когда они вместе с Пелагеей Миневной перекладывали на погребке приготовленные в засол огурцы вишневым и смородинным листом.

– А что, Марфа Петровна? – осведомилась Пелагея Миневна, шустрая старушка с бойкими черными глазами.

– Да так!.. неладно, – нарочно тянула Марфа Петровна, опрокидываясь в большую кадочку своим полным корпусом по пояс; в противоположность общепринятому типу высохшей, поблекшей и изможденной неудовлетворенными мечтаниями девственницы, Марфа Петровна цвела в сорок лет как маков цвет и походила по своим полным жизни формам скорее на счастливую мать семейства, чем на бесплодную смоковницу.

– Уж не болен ли кто? – сделала догадку Пелагея Миневна, осторожно опуская на пол решетку с вымытыми в двух водах и вытертыми насухо кунгурскими огурцами.

В Белоглинском заводе климат был настолько суров, что огурцы росли только в тепличках и парниках, как это было у Пятовых и Шабалиных, а все остальные должны были покупать привозный товар. Обыкновенно огурцы привозили из Кунгурского уезда, как арбузы из Оренбургской губернии, а яблоки из Перми.

Пробойная и дошлая на все руки Марфа Петровна, кажется, знала из своего уголка решительно все на свете и, как какой-нибудь астроном или метеоролог, делала ежедневно самые тщательные наблюдения над состоянием белоглинского небосклона и заносила в свою памятную книжку малейшие изменения в общем положении отдельных созвездий, в состоянии барометра и колебаниях магнитной стрелки. На своем наблюдательном посту Марфа Петровна изобрела замечательно точные методы исследования, так что, как другие великие астрономы, могла предугадывать события и даже предчувствовать, чего астрономы еще не могут добиться. Так и в данном случае для Марфы Петровны было совершенно достаточно заметить, что в брагинском доме явились некоторые тревожные признаки, как она сейчас же решила, что там неладно. Опытный пчеловод по гудению пчел узнает состояние улья. Эти признаки были следующие: в горнице Гордея Евстратыча по ночам горит огонь до второго и до третьего часу, невестки о чем-то перешептываются и перебегают по комнатам без всякой видимой причины, наконец, сама Татьяна Власьевна ходила к о. Крискенту, что Марфа Петровна видела собственными глазами. Кажется, достаточно...

– В самом деле, не прихворнул ли у них кто? – спрашивала во второй раз Пелагея Миневна, напрасно стараясь замаскировать свое неукротимое бабье любопытство равнодушным тоном.

– Нет, все здоровы, а только что-то неладно... Вон в горнице-то у Гордея Евстратыча до которой поры по ночам огонь светится. Потом сама-то старуха к отцу Крискенту ходила третьева дни...

– Неужели?.. Как же это я-то ничего не заметила, Марфа Петровна?..

В уме обе женщины сейчас же перебрали все подходящие мотивы, но ничего не объяснялось ими. Уж не сватают ли Ньюшу, или, может, письмо откуда получили?.. Вообще это

неожиданное открытие встревожило обеих женщин, и Марфа Петровна сейчас же после обеда, закинув какое-то заделье, отправилась сначала к Савиным, а потом к Колобовым. Эта наблюдательная и, в сущности, очень добрая особа работала на Пазухиных, как мельничное колесо, но, когда на горизонте всплывало тревожившее ее облако, она бросала всякую работу, надевала на голову черную шерстяную шаль и отправлялась по гостям, где ей всегда были рады. Известный запас новостей мучил Марфу Петровну, как мучит картежника каждый свободный рубль или как мучит нас самая маленькая песчинка, попавшая в глаз; эта девица не могла успокоиться и войти в свою рабочую колею до тех пор, пока не выбалтывала где-нибудь у Савиных или Колобовых решительно все, что у нее лежало на душе.

«Пошла наша кума со сплетней, как курица с яйцом», – подумала Пелагея Миневна про Марфу Петровну, но сказать это вслух, конечно, побоялась.

А Марфа Петровна, торопливо переходя дорогу, думала о том, что авось она что-нибудь узнает у Савиных или Колобовых, а если от них ничего не выведает, тогда можно будет вернуться к Пятовым и даже к Шабалиным. Давно она у них не бывала и даже немножко сердилась, потому что ее не пригласили на капустник к Шабалиным. Ну, да уж как быть, на всякий чох не наздравствуешься.

Савины жили в самом рынке, в каменном двухэтажном доме; второй этаж у них всегда стоял пустой, в качестве парадной половины «на случай гостей». Сами старики с женатым сыном жили в нижнем этаже, где летом было сыро, а зимой холодно. Крытый наглухо, по-раскольничьи, широкий двор и всегда запертые на щеколду ворота савинского дома точно говорили о том, что в нем живут очень плотно. Старик Кондрат Гаврилыч немножко «скудался глазами» и редко куда выходил; всей торговлей заправлял женатый сын. Собственно, из этой семьи славилась сама Савиха, или Матрена Ильинична, высокая дородная старуха, всегда щеголявшая в расшитой шелками и канителью кичке. Красавица была в свое время и великая щеголиха, а теперь пользовалась большой популярностью как говоруха. Сама Марфа Петровна побаивалась бойкой на язык Савихи и выучилась у ней многим ораторским приемам.

– Ах, кумушка, наконец-то завернула к нам, – ласково встретила Матрена Ильинична гостью. – А мы тут совсем мохом обросли без тебя...

– То-то, поди, соскучились? – отшучивалась Марфа Петровна, стараясь попасть в спокойно-добродушный тон важной старухи. – Авдотья-то Кондратьевна давненько у вас была?

– На той неделе забегала под вечерок. Рубахи приходила кроить своему мужику. Дело-то непривычное, ну и посумлевалась, как бы ошибочку не сделать, а то Татьяна-то Власьева, пожалуй, осудит... А что?

– Да я так сказала... живем из окна в окно, а я что-то давно не видала Авдотьи-то Кондратьевны. Цветет она у вас как мак, и Гордей-то Евстратыч не насмотрится на нее.

Марфа Петровна побоялась развязать язык перед Матреной Ильиничной, потому что старуха была нравная, с характером, да и милую дочку Дунюшку недавно еще выдала в брагинский дом, пожалуй, не ровен час, обидится чем-нибудь.

– А как Кондрат Гаврилыч? – тараторила Марфа Петровна, заминая разговор.

– Чего ему делается... – нехотя ответила Матрена Ильинична. – Работа у него больно невелика: с печи на полати да с полатей на печь... А ты вот что, Лиса Патрикеевна, не заматай хвостом следов-то!

– Я ничего, Матрена Ильинична... ей-богу... Я так сказала...

– Не заговаривай зубов-то, матушка, я немножко пораньше тебя родилась...

Делать нечего, Марфа Петровна рассказала все, что сама знала, и даже испугалась, потому что совсем перетревожила старуху, которая во всем этом «неладно» видела только одну свою ненаглядную Дунюшку, как бы ей чего не сделали в чужом доме, при чужом роде-племени.

– А я еще зайду к Колобовым; может, у них не узнаю ли что, – успокаивала Марфа Петровна, – а от них, если ничего не узнаю, дойду до Пятовых... Там уж наверно все знают. Феня-то Пятова с Нюшей Брагиной – водой не разлить...

– Ох, боюсь я за Дуняшку-то свою, – стонала Матрена Ильинична. – Внове ее дело, долго ли до какой напасти...

– Так уж я зайду к вам, Матрена Ильинична, как пойду обратно, и все выложу, как на духу.

– Ну, ступай, ступай, таранта.

Марфа Петровна полетела в колобовский дом, который стоял на берегу реки, недалеко от господского дома, в котором жили Пятовы. По своей архитектуре он принадлежал к тем старинным деревянным постройкам, с светелками и переходами, какие сохранились только в лесистой северной полосе России и только отчасти на Урале. В колобовском доме могло поместиться свободно целых пять семейств, и, кроме того, в подвале была устроена довольно просторная моленная. Старики Колобовы были только наполовину единоверцами и при случае принимали австрийских попов, хотя и скрывали это от непосвященных. Самойло Михеич вел довольно большую железную торговлю; это был крепкий седой старик с большой лысой головой и серыми, светлыми улыбающимися глазами, – Ариша унаследовала от отца его глаза. Жена Самойла Михеича была как раз ему под стать, и старики жили как два голубя; Агния Герасимовна славилась как большая затейница на все руки, особенно когда случалось праздничное дело, – она и стряпать первая, и гостей принимать, и первая хоровод заведет с молодыми, и даже скакала сорокой с малыми ребятишками, хотя самой было под шестьдесят лет. Вообще веселая была старушка, гостеприимная, ласковая. В большом колобовском доме с старинной вычурной мебелью и какими-то невероятными картинами в золоченых облупившихся рамках все чувствовали себя как-то особенно свободно, точно у себя дома. Марфа Петровна особенно любила завернуть к Агнее Герасимовне и покалякать с ней от души: добрая, хлебосольная старушка не прочь была и посплетничать, хотя и сознавала, что это нехорошо. Да и как удержаться, когда подвернется такая сорока, как Марфа Петровна.

– Милости прошу, Марфа Петровна, давненько не видались, – встретила свою гостью Агния Герасимовна. – Новенького чего нет ли? Больше нашего людей-то видите, – продолжала хозяйка, вперед знавшая, что недаром гостью тащила такую даль.

Марфа Петровна вылила свои наблюдения о брагинском доме, прибавив для красного словца самую чуточку. В оправдание последнего Марфа Петровна могла сказать то, что сама первая верила своим прибавкам. Принесенное ею известие заставило задуматься Агнью Герасимовну, которая долго припоминала что-то и наконец проговорила:

– Чуть-чуть не захлестнуло... И ведь какая штука вышла! На неделе как-то наша пестрянка две ночи заночевала в лесу, ну, Самойло Михеич и послал кучера искать ее. Только кучер целый день проездил на вершней, а потом и приехал с пустыми руками. Стала я его расспрашивать, где и как он искал, – грешный человек, подумала еще, что где-нибудь в кабаке он просидел! Ну, кучер мне и говорит, что будто встретил он на дороге в Полдневскую Гордея Евстратыча. Я еще посмеялась про себя, думаю, и соврать-то не умеет мужик... А оно выходит, пожалуй, и правда!..

Это открытие дало неистощимый материал для новых предположений и догадок. Теперь уже не могло быть никакого сомнения, что действительно в брагинском доме что-то неладно. Куда ездил Гордей Евстратыч? Кроме Полдневской – некуда. Зачем? Если бы он ездил собирать долги с полдневских мужиков, так, во-первых, Михалко недавно туда ездил, как знала Агния Герасимовна от своей Ариши, а во-вторых, зачем тогда Татьяне Власьевне было ходить к о. Крискенту. И т. д., и т. д.

Одним словом, Марфа Петровна возвратилась домой с богатым запасом новостей, который еще увеличился дорогой, как катившийся под гору ком снега. Пелагея Миневна так и

ахнула, когда услышала, что Гордей Евстратыч сам гонял в Полдневскую. Теперь дело было уже яснее дня! Брагины хотят заняться приисками... Да! И главное, потихоньку от других. Хороши, нечего сказать, а еще суседи. Если бы не Марфа Петровна, да тут бог знает что вышло бы. Пелагея Миневна и Марфа Петровна так разгорячились от этих разговоров, что открыто начали завидовать несметным богатствам Брагиных, забыв совсем, что эти богатства пока еще существовали только в их воображении.

– И вот попомните мое слово, Пелагея Миневна, – выкрикивала Марфа Петровна, страшно размахивая руками, – непременно все они возгордятся и нас за соседей не будут считать. Уж это верно! Потому как мы крестьянским товаром торгуем, а они золотом, – компанию будут водить только с станovým да с мировым...

– Ну, про молодых не знаю, а что до Татьяны Власьевны, так она не такая старуха.

– Ох, не говорите, Пелагея Миневна: враг горами качает, а на золото он и падок... Я давеча ничего не сказала Агнее Герасимовне и Матрене Ильиничне – ну, родня, свои люди, – а вам скажу. Вот сами увидите... Гордей Евстратыч и так вон как себя держит высоко; а с тысячами-то его и не достанешь. Дом новый выстроит, платья всякого нашьют...

Обе женщины пожалели вместе, что вот им не достался же до сих пор никакой прииск.

Кроме этого, Пелагея Миневна лелеяла в душе заветную мысль породниться с Брагиными, а теперь это проклятое золото могло разрушить одним ударом все ее надежды. Старушка знала, что Алешке нравится Нюша Брагина, а также то, что и он ей нравится.

«Уж как бы хорошо-то было, – думала Пелагея Миневна. – Еще когда Алеша да Нюша ребятками маленькими были и на улице играли постоянно вместе, так я еще тогда держала на уме. И лучше бы не надо...»

Действительно, между Алексеем Пазухиным и Нюшей незаметно образовались те хорошие и дружеские отношения, под которыми тлела настоящая любовь. Собственно, стороны не давали отчета в своих чувствах, а пока довольствовались тем, что им было хорошо вместе. Детская дружба принимала форму более сильного чувства, и только недоставало у Алешки смелости, чтобы взять свое. Он был скромный и совестливый парень, а Нюша такая бойкая и красивая. В ее присутствии он каждый раз сильно робел и беспрекословно переносил всевозможные шалости, когда Нюша, улучив свободную минутку, встречалась с своим обожателем где-нибудь у ворот. Эти свидания происходили в сумерки. Нюша, накинув на плечи заячью шубейку, выскакивала за ворота и, по странной случайности, как-то всегда попадала на Алешку, который только и жил сумерками.

– Вот чему не потеряться-то... – смеялась Нюша, кутаясь в шубейку. – Носу нельзя показать без тебя, Алеша. Ты никак в сторожа нанялся в нашу Старую Кедровскую?

– У вас, Анна Гордеевна, всегда такие слова... как ножом по сердцу режете...

– Какая я тебе Анна Гордеевна?.. Придумал тоже... А я так про себя всегда тебя Алешкой навеличиваю: Алешка Пазухин – и вся тут. Вместе в снежки, бывало, играли, на салазках катались... Позабыл, видно?

– Мало ли что прежде было... И теперь можно бы когда вечером по улице на саночках прокатиться... Эх, лихо бы я вас прокатил, Анна Гордеевна!

– А бабушка-то?.. Да она тебе все глаза выцарапает, а меня на поклоны поставит. Вот тебе и на саночках прокатиться... Уж и жисть только наша! Вот Феня Пятова хоть на ярмарку съездила в Ирбит, а мы все сиди да посиди... Только ведь нашему брату и погулять что в девках; а тут вот погуляй, как цепная собака. Хоть бы ты меня увез, Алешка, что ли... Ей-богу! Устроили бы свадьбу-самокрутку, и вся тут. В Шабалинских скитах старики кого угодно сводом свенчают.

Иногда Нюше доставляло громадное удовольствие хорошенько помучить своего обожателя, особенно в Святки, где-нибудь на вечеринке. У Алешки был соперник в лице Володьки Пятова, избалованного барчука, который учился в гимназии до третьего класса и успел отве-

дать всяких благ городской цивилизации. С белоглинскими девицами, в качестве управительского сынка, он обращался совсем свободно и открыто ухаживал за Нюшей, которая дурачилась с ним напропалую, чтобы побесить Алешку. На то и Святки, чтобы дурачиться. По старинному обычаю, на белоглинских вечерах молодые люди открыто целовались между собой бесчисленное количество раз, как того требовала игра или песня. Даже сама строгая Татьяна Власьевна раз, когда Нюша ни за что не хотела целоваться с каким-то не понравившимся ей кавалером, заставила ее исполнить все по правилу и прибавила наставительно: «Этого, матушка, нельзя, чтобы не по правилу, – из игры да из песни слова не выкинешь... За углом с парнями целоваться нехорошо, а по игре на глазах у отца с матерью и Бог простит!»

Увертливый, смелый, научившийся всяким художествам около арфисток и других городских девиц, Володька Пятов являлся для застенчивого Алешки Пазухина истинным наказанием и вечным предметом зависти. В обществе этого сорванца Нюша делалась совсем другой девушкой и точно сама удивлялась, как она могла по вечерам выбегать за ворота для этого пустоголового Алешки, который был просто смешон где-нибудь на вечеринках или вообще в компании.

– Неужели он тебе нравится, этот чурбан Алешка? – иногда спрашивала Нюшу бойкая Феня Пятова. – Он и слова-то по-человечески не может сказать, я думаю... К этакому-то чуду ты и выбегаешь за ворота? Ха-ха...

– А что же мне делать, если никого другого нет... Хоть доколе в девках-то сиди. Ты вон небось и на ярмарке была, и в другие заводы ездишь, а я все сиди да посиди. Рад будешь и Алешке, когда от тоски сама себя съесть готова... Притом меня непременно выдадут за Алешку замуж. Это уж решено. Хоть поиграю да потешусь над ним, а то после он же будет величаться надо мной да колотить.

– Уж и нашли же вы сокровище... Где у ваших-то глаза, если так? Да я бы удавилась, а не пошла за твоего Алешку...

– Это все бабушка, Феня... А у ней известная песня: «Пазухинская природа хорошая; выйдешь за единственного сына, значит, сама большая в доме – сама и маленькая... Ни тебе золовок, ни других снох да деверьев!» Потолкуй с ней, ступай... А, да мне все равно! Выйду за Алешку, так он у меня козырем заходит.

– Вот если бы он в отца, в Силу Андроныча, уродился, тогда бы другое дело...

Сила Андронович Пазухин был знаменитый человек в своем роде, хотя и не из богатых; красавец, силач, красноречив – он был мастер на все руки и был не последним человеком в среде белоглинского купечества, даром что торговал только крестьянским товаром. В свое время об Силе Андроныче сохнули да вздыхали все белоглинские красавицы, и даже сама Матрена Ильинична, как говорила молва, была равнодушна к нему. В Николин день, девятого мая, когда в Белоглинском заводе праздновали престольный праздник и со всех сторон набирались гости, на площади устраивалась старинная русская потеха – борьба. Это была настоящая церемония, в которой из года в год заводы соперничали между собой своими борцами. Приезжали из завода Курмыша, из Вязловского, из Плотницкого; со всех сторон набирался разный народ. И каждый раз в течение двадцати лет Сила Пазухин «уносил круг», то есть оставался победителем. В сорок лет Пазухин кончил эту молодецкую забаву и только под веселую руку иногда любил тянуться на палке, причем обыкновенно перетягивал всех. Теперь Силе Андронычу было под шестьдесят лет. Это был приземистый толстый старик с обрюзгшим лицом и кудрявыми волосами; прежняя красота заплывала жиром, а сила износилась. Не имея возможности тешиться прежними молодецкими забавами, как борьба и кулачный бой, Сила Андроныч пристрастился к лошадям и выкармливал замечательных бегунов киргизской крови. Купеческих лошадей с выгнутыми, как триумфальная арка, шеями он просто ненавидел. К недостаткам этого старика принадлежала, между прочим, его необыкновенная «скорость на руку», за что он платился сам первый. Семейных своих он не шевелил пальцем, впрочем, не из каких-нибудь гуманных побуждений, а просто из боязни порешить одним ударом. Зато при-

слуге, особенно подручным по лавке и кучерам, крепко доставалось от его скорости; поэтому у него кучера славились как самый отпетый народ, особенно один, по прозвищу Ворон, любимец Сила Андроныча. Их сближение произошло довольно оригинально. Купил Сила Андроныч с оренбургской линии гнеденского иноходчика и стал его выезжать, а потом заметил, что иноходчик с тела спадает. Отыскав какую-то ссадину на лопатке, несомненное доказательство жестокого обращения Ворона, – Сила Андроныч захотел немножко поучить последнего, а наука короткая: положил нагайку в карман и – в конюшню к Ворону. Ворон что-то прибирал в конюшне, когда хозяин вошел к нему. Это был мрачный субъект, черный, как цыган, и с одним глазом. Сила Андроныч, прочитав приличное наставление своему любимцу на тему, что «блажен иже и скоты милует», для большей убедительности своих слов принялся опытной рукой полировать Ворона. Но Ворон не потерялся, а, схватив запорку от конюшни, быстро из оборонительного положения перешел в наступательное: загнал хозяина в угол и, в свою очередь, так его поучил, что тот едва уполз ноги в горницу.

– Молодец, если умел Сила Пазухина поучить... – говорил на другой день Сила Андроныч, подавая Ворону стакан водки из собственных рук. – Есть сноровка... молодец!.. Только под ребро никогда не бей: порешишь грешным делом... Я-то ничего, а другому, пожиже, и недохнуть. Вон у тебя какие безмены.

Ворон и теперь жил у Пазухиных и пользовался неизменным расположением хозяина все время, хотя сам оставался туча тучей.

Сын Алексей несколько не походил на отца ни наружностью, ни характером, потому что уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Это был видный парень, с румяным лицом и добрыми глазами. Сила Андроныч не считал его и за человека и всегда называл девочкой. Но Татьяна Власьевна думала иначе – ей всегда нравился этот тихий мальчик, как раз отвечавший ее идеалу мужа для ненаглядной Нюши.

– И хорошо, что не в отца пошел, – говорила она, – с таким бойцом жить – без ребрышка ходить... А нам не дорога его-то разгулка, а дорога домашняя потребность.

VII

В брагинском доме было тихо, но это была самая напряженная, неестественная тишина. «Сам» ходил по дому как ночь темная; ни от кого приступу к нему не было, кроме Татьяны Властьевны. Они запирались в горнице Гордея Евстратыча и подолгу беседовали о чем-то. Потом Гордей Евстратыч ездил в Полдневскую один, а как оттуда вернулся, взял с собой Михалка, несколько лопат и кайл и опять уехал. Это были первые разведки жилки.

Стояла глубокая осень; по ночам земля крепко промерзала. Лист на деревьях опал; стояли холодные ветры, постоянно дувшие из «гнилого угла», как зовут крестьяне северо-восток. Солнце не показывалось по неделям. Все в природе точно съежилось, предчувствуя наступление холодной зимы. Вот в один из таких дней Гордей Евстратыч с Михалком подъезжали верхами к Полдневской, но, не доезжая деревни, они взяли влево и лесистым увалом, по какой-то безымянной тропинке, начали подниматься вверх по реке. Гордей Евстратыч не хотел, чтобы его видели в Полдневской, где он недавно был – проведать Маркушку, который все тянулся изо дня в день, сам тяготясь своим существованием. Другие старатели, кажется, начинали догадываться, зачем ездил Брагин к ним, и теперь он решил не показываться полднякам до поры до времени, когда все дело будет сделано.

– Я бы теперь же сделал заявку жилки, мамынька, – говорил Гордей Евстратыч перед отъездом, – да все еще сумлеваюсь насчет Маркушки... Не надул ли он меня? Объявишь жилку, насмешишь весь мир, а там, может, ничего и нет.

– А ты бы съездил посмотреть шахту-то.

– Так и сделаем. Один-то я был около нее, да одному ничего нельзя поделывать. Надо Михалку прихватить. Потому, первое, в шахту спускаться надо; а один-то залезешь в нее, да, пожалуй, и не вылезешь.

Проехав верст пять по реке Полуденке, путники переехали вброд горную речонку Смолодинку и по ней стали подниматься к самой верхотине. Место было дикое – косогор на косогоре. Приходилось продирааться через дремучую еловую заросль, где и пешему пройти в добрый час, а не то что верхом, на лошади. Даже не было никакой тропы, какую выбивают дикие лесные козлы. Осенью этот лес особенно был мрачен и глухо шумел, раскачиваясь мохнатыми вершинами. Трава давно поблекла, прибрежные кусты смородины и тальника жалко топорщились своими оголенными ветвями. Гордей Евстратыч ехал вперед, низко наклоняясь под навесом еловых ветвей, загораживавших дорогу, как длинные корявые руки. Вот и верхотина Смолодинки, где эта речонка сочится из горы Заразной небольшим ключиком. Вот и увал, который идет от Заразной на полдень, а вот и те два кедра, о которых говорил Маркушка. Место дикое, кругом лес, глухо, точно в каком склепе.

– Здесь... – говорит Евстратыч, подъезжая к кедром.

Они спешили. В нескольких шагах от кедров, на небольшой поляне, затянутой молодым ельником, едва можно рассмотреть следы чьей-то работы, именно два поросших кустарником бугра, а между ними заваленное кустарником отверстие шахты. Издали его можно даже совсем не заметить, и только опытный глаз старателя сразу видел, в чем дело.

Они осмотрели шахту, а затем очистили вход в нее. Собственно, это была не шахта, а просто «дудка», как называют неправильные шахты без срубов. Такие дудки могут пробиваться только в твердом грунте, потому что иначе стенки дудки будут обваливаться.

– Ну, теперь нужно будет лезть туда, – проговорил Гордей Евстратыч, вынимая из переметной сумы приготовленную стремянку, то есть веревочную лестницу. – Одним концом захватим за кедр, а другой в яму спустим... Маркушка сказывал – шахта всего восемнадцать аршин идет в землю.

– Как бы, тятенька, не оборваться, – заметил Михалко, помогая привязывать конец стремянки к дереву. – Я полегче вас буду – давайте я и спущусь...

– Нет, я сам...

На случай был захвачен фонарь с выпуклым стеклом, известный под именем коровьего глаза. Предварительно на длинной веревке спущены были в дудку лопата и кирка. Перекрестившись, Гордей Евстратыч начал по стремянке спускаться вниз, где его сразу охватило затхлым, застоявшимся воздухом, точно он спускался в погреб. Пахло глиной и гнилым деревом. Раскинув руками, он свободно упирался в стенки дудки. В одном месте сорвался камень и глухо шлепнулся на самое дно, где стояла вода. Верхнее отверстие шахты с каждым шагом вниз делалось все меньше, пока не превратилось в небольшое окно неправильной формы. Наконец Гордей Евстратыч стал на самое дно шахты, где стояла лужа грязноватой воды. Он зажег свой «коровий глаз», перекрестился и взялся за кирку. При ярком освещении можно было рассмотреть следы недавней работы и самую жилку, то есть тот кварцевый прожилок, который проходил по дну шахты углом. Куски кварца были перемешаны с глиной и охрой; преобладающую породу составлял отвердевший глинистый сланец с следами талька, железного колчедана и красика, то есть ярко окрашенной красной глины. Маркушка, добывая золото, сделал небольшой забой, то есть боковую шахту; но, очевидно, работа здесь шла только между прочим, тайком от других старателей, с одним кайлом в руках, как мыши выгрызают в погребах ковриги хлеба. Гордей Евстратыч внимательно осмотрел все дно шахты и забой, набрал руды целый мешок и, зацепив его за веревку, свистнул, – это был условный знак Михалке поднимать руду. Таким образом мешок спустился и поднялся раз пять, а Гордей Евстратыч продолжал работать кайлом, обливаясь потом. Его огорчало то обстоятельство, что нигде не попадаются такие куски «скварца», какой ему дал Маркушка, хотя он видел крупинки золота, вкрапленные в охристый красноватый и бурый кварц. Но все-таки это была настоящая жилка, в чем Гордей Евстратыч убеждался воочию; оставалось только воспользоваться ею. Он уже чувствовал себя хозяином в этой золотой яме, которая должна его обогатить. В порыве чувства Гордей Евстратыч пал на колени и горячо начал благодарить Бога за ниспосланное ему сокровище.

«Эх, не вылез бы отсюда», – думал он, в последний раз оглядывая свои сокровища ревнивым хозяйским глазом.

Но нужно было уехать засветло домой, и Гордей Евстратыч выбрался наверх, где его дождался молчаливый Михалко.

Итак, жилка оказалась форменной, как следует быть жилке. Оставалось только заявить ее где следует – и дело с концом. Но вот тут и представлялось первое затруднение. Именно, по горному уставу, во-первых, прежде чем разыскивать золото, требуется предварительное дозволение на разведки в такой-то местности, при таком-то составе разведочной партии; во-вторых, требуется заявка найденной россыпи по известной форме с записью в книги при полиции, и, наконец, самое главное – позволяется частной золотопромышленности производить разведки и эксплуатацию только золота в россыпях, а не жильного. Конечно, при покупке заявленных приисков первые два правила не имеют значения, но ведь Маркушкина дудка не была нигде заявлена, следовательно, как же мог Гордей Евстратыч узнать о содержавшемся в ней золоте.

– А если возьму свидетельство на разведки золота да потом и заявлю эту шахту? – говорил Гордей Евстратыч, когда был в последний раз у Маркушки.

– Нет... невозможно, – хрипел Маркушка, не поворачивая головы. – Уж тут пронюхают, Гордей Евстратыч, все пронюхают... Только деньги да время задарма изведешь... прожженный народ наши приисковые... чистые варнаки... Сейчас разыщут, чья была шахта допрежь того; выищутся наследники, по судам затаскают... нет, это не годится. Напрасно не затевай разведок, а лучше прямо объявись...

– Да ведь мне не дадут работать жильное золото?

– Ах, какой же ты, право, непонятный... Знамо дело, что не дадут. Я уж тебе говорил, что надо под Шабалина подражать... он тоже на жилке робит, а списывает золото россыпным... Есть тут один анжинер – тебе уж к нему в правую ногу придется...

– Да кто такой?

– А Лапшин, Порфир Порфирыч... ты не гляди на него, что в десять-то лет трезвым часу не бывал, – он все оборудует левой ногой... уж я знаю эту канитель... Эх, как бы я здоров-то был, Гордей Евстратыч, я бы тебя везде провел. Ну, да и без меня пройдешь с золотом-то... только одно помни: ни в чем не перечь этим самым анжинерам, а то, как лягушку, раздавят...

– Не люблю я этих чиновников, Маркушка... Нож они мне вострый!

– Кто их любит, Гордей Евстратыч? Да ежели без них невозможно...

– А я этого Порфира Порфирыча даже очень хорошо знаю. Не один раз у меня в лавке бывал... Все платки кумачные покупал...

– Пьяный?

– Навеселе...

– Ну, обнаковенно. У него зараза: платки девкам в хоровод бросать... Прокурат он, Порфир-то Порфирыч, любит покуражиться; а так – добреющая душа, – хоть выпишь на нем... Он помощником левизора считается, а от него все идет по этим приискам... Недаром Шабалин-то льнет к нему... Так уж ты прямо к Порфиру Порфирычу, объявишь, что и как; а он тебя уж научит всему...

Крепко не хотелось Гордею Евстратычу связываться с крапивным семем, но выбрать было не из чего. Надо было ковать железо, пока оно горячо; а бог знает, что еще впереди. Бывая в Полдневской, Гордей Евстратыч несколько раз предлагал Маркушке перевести его в Белоглинский завод к себе в дом; но Маркушка ни за что не хотел оставлять своего логовища и не мог даже себе представить, как он умрет не в Полдневской. Делать нечего, пришлось устраивать Маркушку в его теперешнем помещении, что было очень трудно сделать. Балаган Маркушки промерзал со всех четырех углов, в пазы везде дуло, дым ел глаза, и при всем том не было никакой возможности его поправить хотя сколько-нибудь. Для первого раза Гордей Евстратыч устроил Маркушке постель, послал теплое меховое одеяло, белье, разного харчу, сальных свеч и т. д.

– Я тебе доктора пошлю, он тебя вылечит, – несколько раз предлагал Брагин.

– Нет... какой уж тут доктор, – с безнадежной улыбкой говорил Маркушка, делая напрасное усилие улыбнуться. – Ваши доктора только уморят... я у старух пользуюсь...

– Да чем они тебя лечат, старухи-то?

– Средствие такое есть... пью настой из черных тараканов...

Маркушка был фаталист и философ, вероятно, потому, что жизнь его являлась чем-то вроде философского опыта на тему, что выйдет из того, если человека поставить в самые невозможные условия существования. С двенадцати лет Маркушка пил водку и курил табак: каторжная приисковая работа чередовалась с каторжным бездельем. Середины ни в чем не было, и, вероятно, на этом основании Маркушка создал себе ее искусственно в форме водки. Благодаря этому радикальному средству печень Маркушки весила тридцать фунтов, а он чувствовал, что у него в боку лежит точно целый жернов.

– Это от болоней, – объяснил Маркушка со слов пользовавших его старух. – Все ничего, а как болонь в человеке повреждена – тут уж шабаш... Наши полдневские все от болоней умирают.

Гордею Евстратычу приходилось отыскивать инженера Лапшина, который официально жил в Сосногорском заводе, около которого по преимуществу были разбросаны золотые прииски. От Белоглинского завода до Сосногорского считалось верст двести, но «для милого дружка и семь верст не околица». Нечего делать, кое-как управив свои торговые делишки и перехватив на всякий случай деньжонок, Гордей Евстратыч тронулся в путь-дорогу. Осенняя

распутица была в самом разгаре, точно природа производила опыты над человеческим терпением: то все подмерзнет денька на два и даже снежком запорошит, то опять такую грязь разведет, что не глядели бы глаза. Уральские дороги вообще не отличаются удобствами, но в распутицу они превращаются в пытку, и преступников вместо каторги можно бы наказывать тем, что заставляя их путешествовать в осеннюю и весеннюю распутицу по Уралу. В Сосногорский завод Брагин приехал на седьмой день, хотя ехал день и ночь; но, на его несчастье, Лапшин только что уехал под Верхотурье ревизовать Перемытые прииски. Передохнул Брагин денек в Сосногорске; дальше прожиться даром было нечего, а домой возвращаться с пустыми руками было совестно, – он решил ехать вслед за Лапшиным, чтобы перехватить его где-нибудь на дороге, благо к Верхотурью было ехать в свою же сторону, хотя и другими дорогами. До Перемытых приисков было верст сто с небольшим; но там Брагин опять не застал Лапшина, который только что укатил обратно, в Сосногорск. Приходилось опять тащиться назад. Терпение Гордея Евстратыча подверглось настоящему испытанию, но он решился добиться своего и поймать Лапшина во что бы то ни стало.

На этот раз Порфир Порфирыч был дома. Он жил в одноэтажном деревянном домишке, который и снаружи и внутри отличался величайшим убожеством, как богадельня или солдатская казарма. В передней денщик чистил сапоги и на вопрос Гордея Евстратыча, можно ли будет видеть барина, молча указал сапожной щеткой на открытую дверь в следующую комнату. Сотворив про себя приличную случаю молитву, Гордей Евстратыч перешагнул порог и очутился в совершенно пустой комнате, в которой, кроме дивана да ломберного стола, решительно ничего не было. На диване в одной рубашке и форменных штанах с голубой прошвой лежал низенького роста господин с одутловатым и прыщеватым лицом, воспаленными слезившимися глазами и великолепным сизым носом. Это и был сам Порфир Порфирыч.

– Порфиру Порфирычу-с... – нерешительно заговорил Брагин, отвешивая купеческий поклон.

– Тэк-с... Порфиру Порфирычу сорок одно с кисточкой, пятиалтынный с дырочкой... Так? Из белоглинских? Так... Помню. Платки еще девкам покупал...

– Точно так-с, Порфир Порфирыч.

– Садись – чего стоять-то? Ноги еще, может, пригодятся... Сенька!

– Сичас, вашескородие... – послышалось из передней.

– Давай стул, че-орт!..

– Сичас, вашескородие...

– Ну, садись не то ко мне на диван, пока там что...

– Ничего-с, постоим-с...

– Да ты садись: знаешь мой характер?

Гордей Евстратыч осторожно присел на самый кончик дивана, в самых ногах у Порфира Порфирыча, от которого так и разлило перегорелой водкой. Порфир Порфирыч набил глиняную трубку с длиннейшим чубуком «Жуковым» и исчез на время в клубах дыма.

– Ну что, золото нашел? – заговорил Порфир Порфирыч после небольшой паузы.

– Точно так-с... Есть такой грех.

– Все грешны, да Божьи, и девать нас некуда. Богатое?

– Еще не знаю, Порфир Порфирыч...

– Ой, врешь, по роже твоей вижу, что врешь... Ведь ты обмануть меня хочешь? А потом хвастаться будешь: левизора, дескать, облапошил... Ну, голубчик, распоясывайся, что и как. Я человек простой, рубаха-парень. Семен!

– Сичас, вашескородие...

– Дурак!.. Ну-с, так как это у вас все случилось, расскажите. А предварительно мы для разговору по единой пропустим. У меня уж такое правило, и ты не думай кочевряжиться.

Сенька двухголовый! Подать нам графин водки и закусить балычка, или икорки, или рыжичков солененьких...

Семен на этот раз не заставил себя ждать, и на ломберном столе скоро появилась водка в сопровождении куска балыка. Выпили по первой, потом по другой. Гордей Евстратыч рассказал свое дело; Порфир Порфирыч выслушал его и с улыбкой спросил:

– Все?

– Точно так-с, Порфир Порфирыч.

– Своим умом дошел или добрые люди научили всю подноготную выложить?

– Был такой грех, Порфир Порфирыч...

– То-то, был грех. Знаю я вас всех, насквозь знаю! – загремел Порфир Порфирыч, вскакивая с дивана и принимаясь неистово бегать по комнате. – Все вы боитесь меня как огня, потому что я честный человек и взяток не беру... Да! Десять лет выслужил, у другого сундуки ломались бы от денег, а у меня, кроме сизого носа да затвердения печенки, ничего нет... А отчего?.. Вот ты и подумай.

– Уж не оставьте, Порфир Порфирыч. На вас вся надежда, как, значит, вы все можете...

– Женат?

– Вдов.

– Дети есть?

– Два сына женатых, дочь...

– Замужем?

– Нет.

– Молоденькая?

– Заневестилась недавно.

– Хорошенькая?

– Не знаю уж, как кому покажется...

– Ну, отлично. Я люблю молоденьких, которые поласковее... Знаешь по себе, что всякая живая душа калачика хочет!.. Ты хотя и вдовец, а все-таки живой человек...

– Я уж старик, Порфир Порфирыч, у меня и мысли не такие в голове.

– Опять врешь... Знаешь пословицу: стар, да петух, молод, да протух. Вот посмотри на меня... Э! я еще ничего... Хе-хе-хе!.. Да ты вот что, кажется, не пьешь? Не-ет, это дудки... Золота захотел, так сначала учись пить.

– Увольте, Порфир Порфирыч. Ей-богу, больше натура не принимает.

– Враки... Пей!.. Вон Вуколко ваш, так тот сам напрашивается. Ну, так жилку нашел порядочную, Гордей Евстратыч? Отлично... Мы устроим тебя с твоей жилкой в лучшем виде, копай себе на здоровье, если лишние деньги есть.

– Уж как Господь пошлет...

Эта деловая беседа кончилась тем, что после четырех графинчиков Порфир Порфирыч захрапел мертвую на своем диване, а Гордей Евстратыч едва нашел дверь в переднюю, откуда вышел на улицу уже при помощи Семена. Мысли в голове будущего золотопромышленника путались, и он почти не помнил, как добрался до постоянного двора, где всех удивил своим отчаянным видом.

– Ну, я приеду к вам в Белоглинский, – говорил на другой день Лапшин, – тогда все твое дело устрою; а ты, смотри, хорошенько угощай...

На прощанье Порфир Порфирыч опять напоил Гордея Евстратыча до положения риз, так что на этот раз его замертво снесли в экипаж и в таком виде повезли обратно в Белоглинский завод.

VIII

Порфир Порфирыч не заставил себя ждать и по первопутке прикатил в Белоглинский завод. Он, как всегда, остановился у Шабалина и сейчас же послал за Брагиным. Гордей Евстратыч приделался в свой длиннополый сюртук, повязал шею атласной косынкой, надел новенькие козловые сапоги «со скрипом» и в этом старинном костюме отправился в гости, хотя у самого кошки скребли на душе. Он еще не успел забыть своей первой встречи с Порфиром Порфирычем, после которой он домой приехал совсем больной. Татьяна Власьевна видела по лицу сына, что что-то не ладно, но что – он ей не говорил; провожая его теперь в шабалинский дом, она пытливо заглядывала ему в глаза.

– Устрой, Господи, все на пользу!.. – молилась она про себя, высматривая в окно, как повез отца Архип.

Кучера Брагины не держали, потому что в доме с Зотушкой было четверо мужиков, а езда была невелика: до лавки доехать да иногда в гости. В новом шабалинском доме Гордей Евстратыч еще не бывал и теперь невольно удивлялся необыкновенной роскоши, с которой все было отделано в доме. По мраморной великолепной лестнице, устланной дорогим мягким ковром, он поднялся во второй этаж; у подъезда и в передней двери были дубовые, с тонкой резьбой и ярко горевшими бронзовыми ручками. В передней швейцар, из отставных солдат, помог Гордею Евстратычу снять шубу. Пахло какими-то духами и сигарами; из гостиной доносились громкие голоса и чей-то неистовый хохот. Гордей Евстратыч еще раз приостановился, расправил бороду и вошел в пустой громадный зал, который просто ошеломил его своей обстановкой: зеркала во всю стену, ореховая дорогая мебель с синей бархатной обивкой, такие же драпировки, малахитовые вазы перед окнами, рояль у одной стены, громадная картина в резной черной массивной раме, синие бархатные обои с золотыми разводами, навощенный паркет – все так и запрыгало в глазах у Гордея Евстратыча. Он тяжело перевел дух, прежде чем вошел в красную гостиную, где на диване и около стола разместились в самых непринужденных позах веселая компания, состоявшая из Порфира Порфирыча, мирового Липачка, станowego Плинтусова и самого Вукола Логиныча, одетого в синюю шелковую пару. Центром общества служила любовница Шабалина, экс-арфистка Варвара Тихоновна; это была красивая девушка с смелым лицом и неприятным выражением широкого чувственного рта и выпуклых темных глаз. Только когда она смеялась, показывая два ряда белых зубов, лицо делалось весьма добродушным и необыкновенно симпатичным!

– Наконец-то!.. – закричал Шабалин, поднимаясь навстречу остановившемуся в дверях гостю. – Ну, Гордей Евстратыч, признаюсь, выкинул ты отчаянную штуку... Вот от кого не ожидал-то! Господа, рекомендую: будущий наш золотопромышленник, Гордей Евстратыч Брагин.

Скуластое красное лицо Шабалина совсем расплылось от улыбки; обхватив гостя за талию, он потащил его к столу. Липачек и Плинтусов загремели стульями, Варвара Тихоновна уставилась на гостя прищуренными глазами, Порфир Порфирыч соскочил с дивана, обнял и даже облобызал его. Все это случилось так вдруг, неожиданно, что Гордей Евстратыч растерялся и совсем не знал, что ему говорить и делать.

– Садись, Гордей Евстратыч, – усаживал гостя Шабалин. – Народ все знакомый, свой... А ты ловко нас всех поддел, ежели разобрать. А? Думал-думал да и надумал... Ну, теперь, брат, признавайся во всех своих прегрешениях! Хорошо, что я не догадался раньше, а то не видать бы тебе твоей жилки как своих ушей.

Порфир Порфирыч был так же хорош, как всегда, и только моргал своими слезившимися глазами; сегодня он был в форменном мундире горного ведомства, но весь мундир был в пуху и покрыт жирными пятнами. Из-за расстегнутого сюртука выглядывала грязная смятая сорочка с

золотой запонкой. Липачек, толстый, опухший субъект с сонным взглядом, и Плинтусов, высокий вихлястый армеец с вздернутым носом и какими-то необыкновенными сорочьими глазами, служили естественным продолжением Порфира Порфирыча. Гордей Евстратыч поздоровался со всеми и с Варварой Тихоновной, которая в качестве блудницы и наложницы Шабалина пользовалась в Белоглинском заводе самой незавидной репутацией, но как с ней не поздороваться, когда уж такая компания подошла!

– Вот мы его сейчас же и вспрыснем, господа... – предложил Шабалин, трогая пуговку электрического звонка. – Полдюжины холодненького, – коротко приказал он оторопело вбежавшему лакею во фраке и в белых перчатках.

– Чтобы не разохся... – прибавил Липачек хриплым, перепитым басом. – Так ведь, Варвара Тихоновна?

– У вас только и на уме что вино, – жеманно отозвалась Варвара Тихоновна, искоса взглядывая на бережно садившегося на бархатный стул Брагина.

На десертном столе, около которого сидела компания, стояли пустые стаканы из-под пунша и какие-то необыкновенные рюмки – точно блюдечки на тонкой высокой ножке, каких Гордей Евстратыч отродясь не видывал. В серебряной корзинке горкой был наложен виноград и дюшесы, в хрустальных вазочках свежая пастила и шоколадные конфеты.

– Вот, господа, человеку счастье прямо с неба свалилось, – докладывал Порфир Порфирыч, указывая дрожавшей от перепоя рукой на Брагина. – Такую россыпь облюбовал, такую...

– Антик с гвоздикой или английский с мылом? – добавил Плинтусов и захохотал каким-то скрипучим смехом, точно кто скреб глиняным черепком у вас в ухе.

– Именно – и с мылом, и с гвоздикой!..

– Вот мы сейчас вспрыснем... – провозгласил Шабалин, направляя лакея с подносом к гостю. – Гордей Евстратыч, пожалуйста.

– Время-то, Вукол Логиныч, как будто не совсем подходящее для выпивки... – нерешительно говорил Брагин, принимая стакан с шампанским. – Не за этим я шел, признаться сказать.

– В чужой монастырь с своим уставом не ходят, – обрезала Варвара Тихоновна. – Я здесь за игуменью иду, а это братия...

– Что же, дело хорошее... – согласился Гордей Евстратыч, откладывая широкий единоверческий крест, прежде чем выпить бокал.

– Невинно вино, а укоризненно пьянство, Гордей Евстратыч, – заметил Плинтусов и опять захохотал.

«Ну и канпания, – думал Гордей Евстратыч, вытирая губы платком, – только бы пособил Господь подобру-поздорову отсюда выбраться...»

Но выбраться подобру-поздорову из шабалинского дома Гордею Евстратычу не удалось. Сначала все пили шампанское, потом сели играть в стуколку, потом обедали, потом Варвара Тихоновна с гитарой в руках пела цыганские песни, а Липачек и Порфир Порфирыч плясали вприсядку. Все это в голове Брагина под влиянием выпитого вина перемешалось в какой-то один безобразный сон; он видел, как в тумане, ярко-зеленое платье Варвары Тихоновны, сизый нос Порфира Порфирыча и широкую, как подушка, спину плясавшего Липачка. Потом пели песни все, потом играли опять в карты... Гордей Евстратыч тоже пел, и ему делалось очень весело в этой чиновной компании, потому что люди оказались самые простые.

– Уж я тебя произведу... – кричал Порфир Порфирыч, подставляя свой сизый нос к самому лицу Гордея Евстратыча. – Только ты мне никогда не смей перечить ни в чем... Ведь я бы тебя в шею по первому разу прогнал, ежели бы ты, шельма этакая, не рассказал мне всего по чистой совести... Вот за это за самое я тебя и произведу! Будешь помнить Порфира Порфирыча Лапшина, у которого, кроме рубахи да портков, никогда ничего не было... А взятки я

братъ не беру!.. Натурой еще кое-что принимаю... вон Варвара Тихоновна иногда меня целует, когда Вукола дома нет. Так, Варенька?

– Стала я целовать тебя, – выкрикивала Варвара Тихоновна, мотая осовевшей головой. – Велико кушанье!

– А мы сейчас, господа, поедем кататься, – говорил Шабалин, который держался на ногах крепче всех. – А потом завернем погреться к Гордею Евстратычу... Так, Гордей Евстратыч?

– Обнаковенно, – пролепетал Брагин, плохо понимая, о чем его спрашивали.

К подъезду были поданы две тройки, и вся пьяная компания отправилась на них в брагинский дом. Гордей Евстратыч ехал на своих пошевенках; на свежем воздухе он еще сильнее опьянел и точно весь распустился. Архип никогда еще не видал отца в таком виде и легонько поддерживал его одной рукой.

– Ты... что это меня держишь? – закричал Гордей Евстратыч, едва удерживаясь на месте. – Ра-азе я... пья-ан... а?..

– Я, тятенька, ничего, – оправдывался Архип.

– Ты обманывать меня... а? смеяться... а?.. над отцом смеяться?.. я тебе п-покажу-у!..

Гордей Евстратыч, не помня себя от ярости, ударил Архипа со всего размаха прямо по лицу, так что тот даже вскрикнул от боли и схватился за разбитый нос. Сквозь пальцы закапала кровь, но это еще сильнее рассердило пьяного отца, и он, сбив шапку, принялся таскать Архипа за волосы, сбил его с сиденья и топтал ногами все время, пока испуганная криком и возней лошадь не ударилась запрягом в ворота брагинского дома. Выскочившая на шум Татьяна Власьева едва отняла облитого кровью Архипа от расходившегося Гордея Евстратыча; старуха вся тряслась как в лихорадке.

– А ты мне что за указ? – кричал почти не стоявший на ногах Гордей Евстратыч, приступая к матери. – Кто здесь хозяин... а?.. Всех расшибу!..

– Гордей Евстратыч... голубчик... Христос с тобой, опомнись! – умоляла Татьяна Власьева. – Вон соседи-то все смотрят на нас... Ведь отродясь такого сраму не видывали...

– А мне плевать на всех соседей... к нам сейчас гости едут... Понимаешь: гости!..

Перепуганные невестки смотрели в окно на происходившую во дворе сцену; Дуня тихо плакала. Нюша выскочила было на двор, но Татьяна Власьева велела ей сидеть на своей половине. На беду, и Михалка не было даже: он сидел сегодня в лавке. Окровавленный, сконфуженный Архип стоял посредине двора и вытирал кровь на лице полой своего полушубка.

– Пойдемте, братец, в горницы, – хлопотал около Гордея Евстратыча выскочивший из флигелька Зотушка, – право, пойдемте...

В этот момент, заливаясь колокольчиками, въехали две тройки с гостями.

– А, спасенная душенька, Татьяна Власьева! – орал пьяный Шабалин, размахивая своей собольей шапкой. – Принимай гостей, спасенная душа!

– Милости просим, дорогие гости! – низко кланялась Татьяна Власьева с приветливой улыбкой. – Прошу пожаловать в горницы...

Татьяна Власьева забежала вперед и спрятала всех женщин на своей половине, а затем встретила гостей с низкими поклонами в сенях. Гости для нее были священны, хотя в душе теперь у нее было совсем не до них; она узнала и Липачка, и Плинтусова, и Порфира Порфирыча, которых встречала иногда у Пятовых.

– Вон мы какие, – лепетал Порфир Порфирыч, бросая шубу во дворе. – Матушка, Татьяна Власьева, поцелуемся... Голубушка ты моя! Все спастись к тебе приехали...

– Пожалуйте, Порфир Порфирыч, в горницы-то, – упрашивала Татьяна Власьева. – Еще грешным делом простудитесь без шубы-то... Милости просим, дорогие гости! Вукол Логиныч, пожалуйте...

– Лезем, лезем, спасенная душа.

Горницы брагинского дома огласились пьяными криками, смехом и неприличными восклицаниями. Татьяна Власьевна хлопотала в кухне с закусками. Нюша совалась с бутылками неоткупоренного вина. Зотушка накрывал в горнице столы и вместе с Маланьей уставлял их снедями и брашно; Дуня вынимала из стеклянного шкафа праздничную чайную посуду. Словом, всем работы было по горло, и брагинский дом теперь походил на муравьиную кучу, которую разворачивают палкой.

– Так вот ты где поживаешь, Гордей Евстратыч! – заплетавшимся языком говорил Порфир Порфирыч. – Ничего, славный домик... Лучше, чем у меня в Сосногорском. Только вот печка очень велика...

– Батюшкова печка, Порфир Порфирыч...

Брагин, взглянув на батюшкову печку, точно пришел в себя и с изумлением посмотрел кругом, на своих гостей, на суетившегося Зотушку, на строго-приветливое лицо маменьки... Что такое? зачем? Правая рука у него ныла до самого плеча, а в голове стояла такая дрянь... Он теперь же припомнил, как он давеча бил Архипа. Ему сделалось гадко и совестно, хотелось выгнать всю эту пьяную ораву из своего дома; но ведь здесь был Порфир Порфирыч, а не уважить Порфира Порфирыча – значит, прощай и жилка. Вот и мамынька ходит с таким покорным убитым лицом... Ведь он давеча обидел ее во дворе, когда кричал на нее и даже топал ногами. У Гордея Евстратыча заскребло на душе от своего собственного безобразия, и он готов был провалиться от стыда; но гости созваны, надо их угощать.

– А где же остальные? – спрашивал Порфир Порфирыч хозяйку.

– Какие остальные? – удивилась Татьяна Власьевна.

– Ну, ведь есть у вас в доме кто-нибудь помоложе тебя, бабушка?..

– Как не быть, ваше высокоблагородие, да только не случилось на этот раз: внучка зубами скудается, а невестки ушли в гости к своим.

– Так-так...

– А у ней все прехорошенькие, – поощрял Шабалин, толкая Порфира Порфирыча локтем. – Особенно внучка Нюша...

– Нюша? Славное имя... Анна Гордеевна, значит, – соображал вслух Лапшин, раскачиваясь из стороны в сторону. – А я побеседовал бы с этой Нюшей, если бы не зубы... Да я, пожалуй, и средство отличное от зубов знаю, бабушка, а?

– Она спит теперь, Порфир Порфирыч, – отделялась Татьяна Власьевна от хорошего средства. – Вы бы выкушали лучше, Порфир Порфирыч, чем о пустяках-то разговаривать... Вот тут смородиновая наливочка, а там на сорока травах...

– Отлично... Только, бабушка, я один не пью.

– Ох, милушка, я ни одна, ни с другими не пью... И прежде была не мастерица, а под старость оно совсем не пригоже. Вон хозяин с тобой выпьет. А меня уволь, Порфир Порфирыч.

– Ага, испугалась, спасенная душа!.. – потешался довольный Лапшин. – А как, бабушка, ты думаешь, попадет из нас кто-нибудь в Царствие Небесное?.. А я тебе прямо скажу: всех нас на одно лыко свяжут да в самое пекло. Вуколку первого, а потом Липачка, Плинтусова... Компания!.. Ох, бабушка, бабушка, бить-то нас некому, по правде сказать!

Началась попойка. Все пили и заставляли пить хозяина. Шабалин специально занялся тем, что спаивал Зотушку, который улыбался блаженной улыбкой и дико вскрикивал:

– В-вукол Л-лог-гиныч... ведь мы с тобой кругом шестнадцать!.. Б-благодет-тель...

– То-то, Зотушка... Мы с тобой заодно. Что ко мне в гости-то не ходишь?

– Старуха не велит... Она тебя крепко не любит, Вукол Логиныч, – шепотом сообщал Зотушка.

– Знаю, знаю... Да я-то не больно ее испугался... Вот мы ее сегодня утешим – будет нас долго помнить! Ха-ха... Мы сегодня второй напой делаем. Вон Гордей-то Евстратыч скоро рога в землю...

– Братец не могут много принимать этого самого вина, Вукол Логиныч. Они так самую малость церковного иногда испивают, а чтобы настоящим манером – ни боже мой!..

– Нет, это дудки, Зотушка: сказался груздем – полезай в кузов. Захотел золото искать, так уж тут тебе одна дорога... Вона какая нас-то артель: угодники!

Зотушка только покачал своей птичьей головкой от умиления, – он был совсем пьян и точно плыл в каком-то блаженном тумане. Везде было по колено море. Теперь он не боялся больше ни грозной старухи, ни братца. «Наплевать... на все наплевать, – шептал он, делая такое движение руками, точно хотел вспорхнуть со стула. – Золото, жилка... плевать!.. Кругом шестнадцать вышло, вот тебе и жилка... Ха-ха!.. А старуха-то, старуха-то как похаживает!» Закрыв рот ладонью, Зотушка хихикал с злорадством идиота.

Татьяна Власьевна угощала незваных и неожиданных гостей, а у самой в горле стояли слезы, точно она потеряла или разбила что-то дорогое, что нельзя было воротить. Этот кутеж походил на поминки, которые справляли о погибшем прошлом. Вон Липачек и Плинтусов орут какую-то безобразную песню, вон Гордей Евстратыч смотрит на них какими-то остановившимися глазами и хлопает одну рюмку за другой. «Господи, да что же это такое?» – думает со страхом Татьяна Власьевна. И у них бывали гости и всучивали напропалую, особенно на Аришиной свадьбе; но такого безобразия не бывало... Вон Липачек снял с себя сюртук и жилет и лег головой на стол, Вуколко щелкает его по носу. А вина, вина сколько вытрескали и еще просят...

– Ты что же это, Гордей Евстратыч, кошачьими-то слезами нас угощаешь? – смеется Шабалин, приглядывая пустые бутылки к свету.

– Мам-мынька... еще... – мычит Гордей Евстратыч, напрасно стараясь подняться со стула.

Старуха послала Архипа за вином к Савиным, а сама все смотрит за своими гостями, и чего-то так боится ее старое семидесятилетнее сердце. Вон и сумерки наступили, и Татьяна Власьевна рада темноте, покрывшей их безобразие от чужих людей. Вон у Пазухиных давеча все к окнам и бросились, как отец-то пригнал от Шабалина... Ох, господи, господи! Все видели, решительно все: и как отец Архипа ругал, и как к ней подступал, и как гости на тройках подъехали, и как они в пошевнях головами мотали, точно чумные телята. У старухи сжимается сердце при мысли, что о них другие-то скажут, особливо Савины да Колобовы.

Эти горькие размышления Татьяны Власьевны были прерваны каким-то подозрительным шумом, который донесся из ее половины. Она быстро побежала туда и нашла спрятавшихся женщин в страшном смятении, потому что Порфир Порфирыч, воспользовавшись общей суматохой, незаметно прокрался на женскую половину и начал рекомендоваться дамам с изысканной любезностью. Именно в этот трагический момент он и был накрыт Татьяной Власьевной.

– Ах, матушки вы мои... голубушки... – умильно лепетал Порфир Порфирыч, нетвердой походкой направляясь к Нюше. – У кого зубки болят? У меня есть хорошенькое словечко на запасе... А-ах, красавицы, что это вы от меня горохом рассыпались?

– Порфир Порфирыч, ваше высокоблагородие, – говорила Татьяна Власьевна, схватывая его благородие в тот самый момент, когда он только что хотел обнять Нюшу за талию. – Так нельзя, ваше высокоблагородие... У нас не такие порядки, чтобы чужим мужчинам на девичью половину ходить...

Порфира Порфирыча кое-как выдворили из комнаты, и женщины затворились в ней на ключ. Этот эпизод окончательно расстроил Татьяну Власьевну, и она, забравшись в темный чуланчик, где спал Михалко с женой, горько заплакала. В этом старинном доме не осталось ни одного неприкосновенного уголка, даже ее половина подверглась нашествию пьяного ревизора, у которого бог знает что было на уме. Все снохи еще молодые бабенки, и Нюша еще девчонка девчонкой; а люди разве пожалеют их? О всех наговорят бог знает что, только слушай.

«И все это из-за жилки», – думала Татьяна Власьевна, хватаясь за голову.

Безобразный кутеж в брагинском доме продолжался вплоть до утра, так что Татьяна Власьева до самого утра не смыкала глаз и все время караулила спавших в ее комнатке трех молодых женщин, которые сначала испугались, а потом точно привыкли к доносившимся из горницы крикам и даже, к немалому удивлению Татьяны Власьевны, пересмеивались между собой.

– А ты, баушка, зачем Порфира Порфирыча прогнала от нас? – приставала Нюша. – Ведь он не съел бы нас, баушка?

– Ежели бы съел – один конец, милушка; а то хуже бывает...

Старуха была так огорчена сегодняшним днем, что даже не могла сердиться на болтовню Нюши, которая забавлялась, как котенок около затопленной печки. Михалко и Архип продержурили всю ночь на кухне в ожидании тятенькиных приказаний. Пьяный Зотушка распевал, приложивши руку к щеке, раскольничий стих:

И-идет ста-арец по-о-о доро-о-оге...
Чер-норизец, по-о-о ши-ро-око-о-ой...
О чем, ста-арче, горько плачешь,
Черно-ризец, возры-да-а-а-ешь?..

Утром, когда прогудел свисток на работу, Шабалин и Плинтусов уехали домой, а Порфир Порфирыч и Липачек остались распростертыми в горницах брагинского домика. Одна нога Липачка покоилась на животе Порфира Порфирыча, а голова последнего упиралась в батушкову печь. Сам хозяин лежал на полу у себя в горнице и тяжело храпел с налитым опухшим лицом, раскинув руки с напряжившимися жилами. Татьяна Власьева осторожно прокралась в горницы, чтобы посмотреть на гостей, а затем прошла в горницу к «самому» и долго смотрела на спавшего Гордея Евстратыча, а потом подложила ему под голову подушку. В комнатах все было перевернуто вверх дном, валялись пробки, окурки сигар, объедки балыка и т. п.

– Хорошо, мамынька?.. Хи-хи-хи!.. Кругом шестнадцать!

Татьяна Власьева вздрогнула. Она только теперь заметила скорчившегося в углу Зотушку, который хихикал с каким-то детским всхлипываньем.

– А ты чему обрадовался, дурак? – грозно спросила Татьяна Власьева, взбешенная этой выходкой.

– Я? Хи-хи-хи!.. Вот она, жилка-то, мамынька!.. Хи-хи-хи!..

– Тьфу, дурак!.. – отплевывалась Татьяна Власьева.

– Золота захотела... денег... Хи-хи-хи!.. Богатые будем, милый сын Гордей Евстратыч... Мамынька, рюмочку!..

IX

Дело разработки найденного золота под крылышком Порфира Порфирыча быстро пошло в ход. Гордей Евстратыч и слышать ничего не хотел о том, чтобы отложить открытие прииска до весны. Как только были исполнены необходимые формальности и получены нужные документы, Гордей Евстратыч приступил сейчас же к подготовительным работам. Прииск был назван по речке – Смородинским, или просто Смородинкой. Ставили начерно приисковую контору и теплый корпус для промывки золота; тут же устраивалась дробильная машина с конным приводом, и золотая дудка превращалась в настоящую шахту. Стенки прежней дудки значительно были расширены и выровнены, а потом был спущен листованный сруб; пустую землю и руду поднимали наверх в громадных бадьях, приводимых в движение конным воротом. Человек пятьдесят рабочих «пробили на жилке» короткий зимний день весь напролет, а Кайло, Лапоть и Потапыч в качестве привилегированных рабочих «налаживали» шахту. Окся, Лапуха и Домашка тоже готовились принять самое деятельное участие в этой работе, когда поспеет теплый корпус, где будут на станках промывать превращенный в дробильные кварц в песок. Полдневские держались наособицу и задавали некоторый тон, потому что как-никак, а жилку открыл ихний же Маркушка и на ихней земле.

Одно было нехорошо на новом прииске: речка Смородинка была очень невелика и притом сильно промерзала, так что в воде предвиделось большое затруднение.

– А ты налаживай прудок скорее, – поучал Маркушка, когда Гордей Евстратыч завертывал к нему. – Ночью-то вода даром уходит, а тут она вся у тебя в прудке, как в чашке... А потом эти все конные приводы беспременно брось, Гордей Евстратыч, а налаживай паровую машину: она тебе и воду будет откачивать из шахты, и руду поднимать, и толочь скварец... не слугу себе поставишь, а угодницу.

Маркушка точно ожил с открытием прииска на Смородинке. Кашель меньше мучил его по ночам, и даже отек начинал сходить, а на лице он почти совсем опал, оставив мешки сухой лоснившейся кожи. Только одно продолжало мучить Маркушку: он никак не мог подняться с своей постели, потому что сейчас же начиналась ломота в пояснице и в ногах. Болезнь крепко держала его на одном месте.

– Кабы мне ноги Господь дал, да я бы на четвереньках на Смородинку уполз, – часто говорил Маркушка, и его тусклые глаза начинали теплиться загоравшимся огнем. – Я и по ночам вижу эту жилку... как срубы спутают, как Кайло с Пестерем забой делают... Ох, хоть бы одним глазком привел Господь взглянуть на Смородинку!..

Мысли и заботы обыденной жизни, а особенно хлопоты с приисковой работой как-то странно были переплетены в голове Маркушки с твердой уверенностью, что он уж больше не жилец. Можно было удивляться тому напряженному вниманию, с которым Маркушка следил за всеми подробностями работы на Смородинском прииске, точно от этого зависела вся его участь. Пестерь и Кайло приходили в лачугу Маркушки каждый день по вечерам и, потягивая свои трубочки перед горевшим на каменке огоньком, рассказывали обо всем, что было сделано на прииске за день, то есть, собственно, говорил один Кайло, а Пестерь только сосал свою трубочку. Этим путем Маркушка знал размеры опускаемого в шахту сруба, место, где ставили теплый корпус, план дробилки, устройство конных приводов и т. д. Эти разговоры точно подливали масла в потухавшую лампу Маркушки и в последний раз освещали ярким лучом его холодевшую душу. Он еще жил, хотя жил слабой, отраженной жизнью, если можно так выразиться – жизнью из вторых рук.

– Ох, дотянуть бы мне только до весны, – иногда говорил Маркушка с странным дрожанием голоса. – Доживу я, Кайло? Как ты думаешь?..

– Может, доживешь, а может, нет, – отвечал Кайло с спокойствием и непроницаемой дальновидностью истинного философа.

– Нет, помрешь, Маркушка, – отрезывал грубо Пестерь.

– Помру?..

– Уж это верно: вчера собака выла ночью, значит чует покойника.

Маркушка задумывался и тяжело вздыхал. Ему хотелось жить, как живут другие, то есть «робить» в шахте, пить, драться с Пестерем, дарить козловые ботинки Лапухе или Оксе, смотря по расположению духа. Приисковые бабы часто проводывали Маркушку и каждый раз успевали у него что-нибудь выпросить, потому что в лачуге Маркушки теперь было всего вдоволь – и одежды всякой, и харчу, даже стояла бутылка с вином. Все это, конечно, привезено было Брагиным, который старался обставить Маркушку со всем возможным комфортом. Когда установился санный путь, в Полдневскую приехала сама Татьяна Власьева, чтобы окончательно устроить больного Маркушку. Женские руки доделали то, чего не умел устроить Гордей Евстратыч при всем желании угодить больному; женский глаз увидел десятки таких мелочей, какие совсем ускользают от мужчины. На полу была постлана серая кошма, у постели поставлен столик с выдвижным ящиком, в переднем углу, где чернел совсем покрытый сажей образ, затеплилась лампадка, появился самовар и т. д. Маркушка сначала ужасно стеснялся производимыми переменами в его логовище, но потом примирился с ними, потому что так хотела Татьяна Власьева, а ее слово для больного было законом.

– Только вот эта твоя печь – нож мне вострый, – говорила Татьяна Власьева, протирая глаза от дыма.

– Это каменка-то?.. Отличная печь, Татьяна Власьева...

– А копоть?.. И прибирать по-настоящему ничего у тебя нельзя, потому сейчас копоть насядет – и все тут. Вон рубашка на тебе какая грязная, одеяло...

– Ох, голубушка ты моя!..

Сначала Маркушка сильно побаивался строгой старухи, которая двигалась по его лачужке с какой-то необыкновенной важностью и уж совсем не так, как суются по избе оглашенные приисковые бабы. Даже запах росного ладана и восковых свеч, который сопровождал Татьяну Власьевну, – даже этот запах как-то пугал Маркушку, напоминая ему о чем-то великом и неизвестном, что теперь так грозно и неотразимо приближалось к нему. Мысль о будущем начинала точить и грызть Маркушку, как червь.

Татьяна Власьева заметила на себе болезненно-пристальный взгляд Маркушки и спросила:

– Ты чего это глядишь на меня больно востро?

– Так, родимая моя, так гляжу... Много на моей душе грехов, голубушка...

– Все грешные люди, один Господь без греха.

– Вот умру скоро, Татьяна Власьева... Тяжело... давит... А ты еще, святая душенька, ухаживаешь за мной...

– Что ты, Христос с тобой?! Какие ты слова выговариваешь?

– Душу я загубил... душу человеческую... Он ведь надо мной постоянно стоит. Это он моей души дожидается...

– Перестань болтать-то пустое!.. Не согресишь – не спасешься!..

Татьяна Власьева заговорила о силе покаяния и молитвы, которые спасают закоснелых в грехе грешников. Это было чисто раскольничье богословие, исходной точкой которого являлся тезис: «Большой грех прощается скорее малого, потому что человек скорее покается». А потом – что один раскаявшийся грешник всегда милее Господу десятка никогда не согрешивших праведников. Против такой богословской теории был бессилён даже авторитет о. Крискента, который не переваривал крайностей даже в вопросах о спасении души. Этот благочестивый человек видел рай слишком в богословски-отвлеченных формах, тогда как паства

тяготела к самым жестоким представлениям, которые были для нее понятнее. Маркушка был слишком реалист, чтобы усвоить себе отвлеченные богословские понятия; между тем он считал себя очень грешным человеком, значит, там, вверху, в надзвездном мире ожидала его карающая беспощадная рука, которая воздаст сторицей за все земные неправды. Степенная, душевная речь Татьяны Власьевны затронула в душе этого отчаянного человека неизвестные даже ему самому струны. Ведь с ним никто и никогда не говорил, да он и не в состоянии был слушать такие благочестивые разговоры, потому что представлял собой один сплошной грех. Теперь другое дело, теперь он жадно ловил каждое слово богобоязливой старухи, как умирающий от жажды глотает капли падающего дождя, и под ласковым сочувствующим взглядом другого человека эта ледяная глыба греха подалась... У Маркушки в глазах стояли слезы, когда Татьяна Власьевна кончила ему свое первое утешительное и напутственное слово; он сам не знал, о чем он плакал, но на душе у него точно просветлело. Мрак и сомнения уступили место радостно-светлому чувству.

– А Кайло и Пестерь, если покаются, тоже могут войти в Царство Небесное? – спрашивал Маркушка, чувствовавший себя отделенным от своих друзей целой пропастью.

– И они войдут, если покаются.

Маркушка усомнился, но, взглянув на строгое лицо Татьяны Власьевны, не мог не поверить ей.

– А Лапуха с Оксей?

– Все люди – все человеки...

Душевное просветление Маркушки не в силах было переступить через эту грань: еще допустить в Царство Небесное Кайло и Пестеря, пожалуй, можно, но чтобы впустить туда Оксю с Лапухой... Нет, этого не могло быть! В Маркушке протестовало какое-то физическое чувство против такого применения христианского принципа всепрощения. Он готов был поручиться чем угодно, что Окся и Лапуха не попадут в селения праведных...

После этого первого визита к Маркушке прошло не больше недели, как Татьяна Власьевна отправилась в Полдневскую во второй раз. Обстановка Маркушкиной лачужки не показалась ей теперь такой жалкой, как в первый раз, как и сам больной, который смотрел так спокойно и довольно. Даже дым от Маркушкиной каменки не так ел глаза, как раньше. Татьяна Власьевна с удовольствием видела, что Маркушка заглядывает ей в лицо и ловит каждый ее взгляд. Очевидно, Маркушка был на пути к спасению.

– Лучше тебе? – спрашивала Татьяна Власьевна.

– Лучше, голубушка...

– Вот что, Марк, – заговорила серьезно Татьяна Власьевна, – все я думаю: отчего ты отказал свою жилку Гордею Евстратычу, а не кому другому?.. Разве мало стало народу хоть у нас на Белоглинском заводе или в других прочих местах? Все меня сумление берет... Только ты уж по совести расскажи...

– А что я сказывал Гордею Евстратычу, то и тебе скажу... Больше ничего не знаю. Плохо тогда мне пришлось, больно плохо; а тут Михалко в Полдневскую приехал, ну, ко мне зашел... Думал, думал, чем пропадать жилке задарма – пусть уж ей владеет хоть хороший человек.

– Отчего же ты раньше Гордею Евстратычу о жилке не объявился? Ведь пятнадцать лет, как нашел ее...

– Ах, Татьяна Власьевна, голубушка... ах, какая ты, право! Ну уж и слово сказала... а? Ведь в этом золоте настоящий бес сидит, ей-богу, особенно для бедного человека... Так и я: так думал и этак думал. Даже от этих самых мыслей совсем было уже решился, да еще Господь спас... Смешно и вспомнить... Перво-наперво страх на меня напал, потом стал я ото всех прятаться... мучит ведь оно, золото-то! Думал потом продать жилку кому-нибудь! Кутневы были живы еще, суды завели бы... А когда умерли Кутневы, зачал я ходить по богатым мужикам, которые золотом занимаются: кто десять рублей посулит, кто двадцать, кто просто в шею

выгонит... всячины было, родная... Жаль было этакое богатство за четвертной билет губить: ведь тут тыщи... Одно слово – богатство!.. А самому заняться тоже невозможно: первое, нечем мне взяться за работу, а второе... Ох, да что тут говорить, Татьяна Власьевна! Сама, голубушка, знаешь: только пикни бы Маркушка с своей жилкой, его сейчас бы и под лапу сгребли... Маленький человек, еще в остроге бы досыта насиделся! Тот же Порфир Порфирыч али Плинтусов с Шабалиным... Не я первой! Вот я и подыскивал все подходящего человека... Ну, которые получше, не верили мне, а другие просто за страм считали говорить с Маркушкой... Да... Известные ведь мы люди на всю округу!.. Так год за год и тянулось дело, а я поковыривал свою жилку, что-ничто, пока не доковырялся вот до чего... Мудреное это дело, Татьяна Власьевна, золото! Тоже оно к рукам идет, руку знает... Вот я и порешил, чтобы оно досталось Гордею Евстратычу да тебе, чтобы вы грех мой замаливали...

Глаза Маркушки горели лихорадочным огнем, точно он переживал во второй раз свою золотую лихорадку, которая его мучила целых пятнадцать лет. Татьяна Власьевна молчала, потому что ей передавалось взволнованное состояние больного Маркушки: она тоже боялась, с одной стороны, этой жилки, а с другой – не могла оторваться от нее. Теперь уж жилка начинала владеть ее мыслями и желаниями, и с каждым часом эта власть делалась сильнее.

Захватывающее влияние золота уже успело отразиться на всей брагинской семье. Первое появление Порфира Порфирыча с компанией в этом доме было для всех истинным наказанием; а когда Гордей Евстратыч проспался на другой день – он не знал, как глаза показать. Второе нашествие Порфира Порфирыча уже не показалось никому таким диким, и Татьяна Власьевна первая нашла, что он хотя пьяница и любит покуражиться, но в душе добрый человек. В сущности, это последнее заключение двоилось, потому что Татьяна Власьевна как-то инстинктивно боялась Порфира Порфирыча, в чем не хотела сознаться даже самой себе.

– Велико кушанье... – говорила она даже вслух. – Уж Липачка и Плинтусова не боюсь, а Порфира Порфирыча и подавно... Ну не даст золото мыть – проживем и без золота, как раньше жили.

Но этот страх пред ревизором был каплей, которая тонула в море других ощущений, мыслей и чувств. Пока в брагинской семье переживалось напряженное состояние, было промыто официальное первое золото. Жилка оказалась чрезвычайно богатой, потому что на сто пудов падало целых тридцать золотников, тогда как считается выгодным разрабатывать коренное золото при пятидесяти – шестидесяти долях, а в Америке находят возможным эксплуатировать даже пятидолевое содержание. Одним словом, результат получился блестящий, точно награда за все пережитые брагинской семьей треволения.

– Теперь Михалка и Архипа посадим на прииск, мамынька, – решил Гордей Евстратыч, пересыпая в бумажке золотой песочек.

– А в лавке кто будет сидеть?

– Пусть Ариша с Дуней сидят...

– Молоды они, Гордей Евстратыч. Пожалуй, не управятся...

– Тогда лавку закроем... А мне без ребят одному на прииске не разорваться. Надо смотреть за всеми: того гляди, золото-то рабочие растащат...

Все это было, конечно, справедливо... но закрыть батюшкову торговлю панским товаром Гордей Евстратыч никогда не решился бы, а говорил все это только для того, чтобы заставить мамыньку убедиться в невозможности другого образа действия. А Татьяне Власьевне крепко не по душе это пришлось, потому что от нужды отчего же и женщин не посадить в лавке, особенно когда несчастный случай какой подвернется в семье; а теперь дело совсем другое: раньше небогато жили, да снохи дома сидели, а теперь с богатой жилкой вдруг снох посадить в лавку... Это было противоречие, с которым Татьяна Власьевна никак не могла примириться теоретически, хотя практически видела его полную неизбежность.

– Можно бы приказчика в лавку посадить, Гордей Евстратыч, – пробовала она замолвить словечко, хотя сейчас же убедилась в его полной несостоятельности.

– Нет, уж этому не бывать, мамынька! – решительно заявил Гордей Евстратыч. – Потому как нам приказчик совсем не подходящее дело; день он в лавке, а ночью куда мы его денем? То-то вот и есть... Мужики все на прииске, а дома снохи молодые, дочь на возрасте.

– Чтой-то уж! Гордей Евстратыч, какие ты речи говоришь... А я-то на что?..

– А я не к тому речь веду, что опасаюсь сам, – нет, разговоров, мамынька, много лишних пойдет. Теперь и без того все про нас в трубу трубят, а тут и не оберешься разговору...

Перед Рождеством Гордей Евстратыч сдал первое золото в Екатеринбурге и получил за него около шести тысяч, – это был целый капитал, хотя, собственно, первоначальные расходы на прииске были вдвое больше. Но ведь это был только первый месяц, а затем пойдет чистый доход. Чтобы начать дело, Гордею Евстратычу пришлось затратить не только весь свой наличный капитал, но и перехватить деньжонок у Пятова Нила Поликарпыча. К своим родным, Савиным и Колобовым, Гордей Евстратыч ни за что не хотел обращаться, несмотря на советы Татьяны Власьевны; вообще им овладел какой-то бес гордости по отношению к родным. Раньше не хотел посоветоваться с ними насчет жилки, а теперь пошел за деньгами к Пятову. Вместе с тем Татьяна Власьевна заметила, что Гордей Евстратыч ужасно стал рассчитывать каждую копейку, чего раньше не было за ним, особенно когда расходы шли в дом.

– Мне паровую машину ставить надо к весне, – говорил он, оправдываясь. – Да и Ирбитская ярмарка на носу, надо товар добыть, а деньги все в прииск усажены.

Конечно, это были только временные стеснения, которые пройдут в течение первых же месяцев.

Первые дикие деньги породили в брагинской семье и первую семейную ссору, хотя она и была самая небольшая. Когда Гордей Евстратыч ездил сдавать золото, он привез обеим снохам по подарку. Обыкновенно такие подарки делались всегда одинаковые, а тут Гордея Евстратыча точно бес толкнул под руку купить разные: Арише серьги, Дуне брошку. Вот эта-то брошка и послужила яблоком раздора, потому что Арише показалось, что свекор больше любит Дуню и привез ей лучше подарок. Сначала Ариша надулась и замолчала, а потом принялась плакать в своей каморке, пока это горе не перешло в открытую ссору с Дуней. Невестки перессорились между собой, перессорили мужей и довели дело до Гордея Евстратыча. Суд и решение были самого короткого свойства.

– Не умели носить моих подарков, так пусть они у меня полежат, пока вы будете умнее, – решил Гордей Евстратыч, запирая и брошку, и серьги к себе в шкатулку.

Невестки жили раньше душа в душу, но тут даже суровое решение Гордея Евстратыча и все увещания Татьяны Власьевны не могли их примирить. Если бы еще дело было важное, тогда примирение не замедлило бы, вероятно, состояться, но известно, что пустяков люди не забывают и не прощают друг другу...

Х

Отец Крискент был «удивлен»... Именно когда он распечатал братскую кружку, там оказалась туго сложенная и завязанная сторублевая бумажка, в других кружках тоже, а в той, которая специально служила для сборов на построение храма, лежало целых пять сложенных бумажек. Одним словом, в течение всего «прохождения церковной службы» о. Крискентом это был первый пример такой щедрости доброхотного дателя, пожелавшего остаться неизвестным. Ясное дело, что о. Крискенту стоило только кое-что припомнить, чтобы узнать сейчас неизвестного дателя, которым, конечно, был не кто иной, как Гордей Евстратыч.

– Доброе дело, доброе дело... – говорил о. Крискент и сейчас же прибавил: – Воздадите Божие Богови, а кесарево кесарю. Непременно нужно будет Брагина в церковные старосты выбрать, а то Нилу Поликарпычу трудно справляться.

Об этих крупных пожертвованиях вечером же знал весь Белоглинский завод, и все хвалили благое начинание и ревность Гордея Евстратыча. А к этому присоединились другие известия: одной старушке ночью в окно чья-то рука подала десять рублей, трем бедным семьям та же рука дала по пяти, и т. д. Милостыня была вполне тайная, хотя никакая тайна не остается тайной. Скоро молва разнесла самые точные подробности о положении дел у Брагиных, причем количество золота росло по часам, а вместе с ним росли и брагинские тысячи.

Нужно ли говорить о том, что эти слухи и самые верные известия, вместе с количеством добытого Брагиным золота, поднимали и зависть к их неожиданному богатству. Последнее чувство росло и увеличивалось, как катившийся под гору ком снега, так что люди самые близкие к этой семье начали теперь относиться к ней как-то подозрительно, хотя к этому не было подано ни малейшего повода. Савины и Колобовы были обижены тем, что Гордей Евстратыч возгордился и не только не хотел посоветоваться с ними о таком важном деле, а даже за деньгами пошел к Пятову. Уж кому бы ближе, как не им, покутиться с деньгами, ведь не чужие, слава богу...

– Ну, ежели он не хочет, так бог с ним, – говорил старик Колобов, когда сидел у Пятовых. – Погордиться захотел перед роденькой-то.

Ссора брагинских невесток подлила масла в огонь: теперь Колобовы и Савины не только надулись на всю брагинскую семью, но разошлись и между собой. Брагинское золото достало и их... Даже потайная милостыня была выставлена в самом непривлекательном свете, как ловкая штука Татьяны Власьевны. Без сомнения, Гордей Евстратыч действовал по ее наущению во всем: вот тебе и спасенная душа!.. Против Брагиных из прежних знакомых не были восстановлены только Пятовы и Пазухины, но, может быть, это была простая случайность, как многое другое на свете: стоило бросить малейший повод – и Пазухины и Пятовы точно так же восстали бы против Брагиных.

А золото шло все богаче и богаче... Жилка дала побочную веточку, на которой заложили другую шахту. Особенно богато золото шло в тех местах, где «жилка выклинивалась», то есть сходилось в один узел несколько ветвей. Теперь на Смородинке работало больше ста человек. Гордей Евстратыч во второй раз сvez добытое золото и привез с собой больше десяти тысяч. Работы были приостановлены только наступившими праздниками, а затем снова были открыты на третий день Рождества. Несмотря на самое блестящее положение дел, Святки в брагинском доме прошли скучнее обыкновенного, потому что Савины и Колобовы даже не заглянули к Брагиным. Невестки ходили с опухшими красными глазами. Татьяна Власьевна тяжело вздохнула, и даже беззаботная Нюша приуныла; один Гордей Евстратыч точно ничего не видел и не слышал, что делалось кругом: он точно прирос к своему прииску и ни о чем больше не мог думать.

– Ну и пусть дуются, – говорил он матери, – я им ничего не сделал...

– Я тебе говорила тогда, милушка... – пробовала уговаривать Татьяна Власьевна. – Вон они и обиделись!

– Мне наплевать на них!.. И без них проживем.

– Ох, не гордись, не гордись, милушка. Гордым Господь противится...

– Что же, по-твоему, мне самому идти да кланяться им?.. Жирно будет, – пожалуй, подавятся.

Дело было дрянь, как его ни поверни, и Татьяна Власьевна напрасно ломала свою голову, чтобы выйти из затруднения, то есть помириться с родней, не умаляя своей чести. «Ведь вины-то нет никакой, – раздумывала она про себя. – Гордей-то и прав выходит: на духу покаяться не в чем. Что мы им сделали? Взять хоть Савиных, хоть Колобовых...» Нужно в этом отдать полную справедливость гению Марфы Петровны, которая с необыкновенным искусством умела «подпустить беска» везде и теперь «переплескивала» самые невероятные известия от Брагиных к Колобовым и Савиным и наоборот. Слепление сторон дошло до того, что они, зная много лет Марфу Петровну как завзятую сплетницу, сделали ее теперь своей поверенной. В результате получилось такое положение дел, что о примирении не могло быть и речи. Марфа Петровна торжествовала, сама не отдавая себе отчета в своих поступках. Особенно ловко она сумела поссорить между собой старуху Савиху с безобидной Агнеей Герасимовной Колобовой. Старухи жили душа в душу целый век, а тут чуть не разодрались из-за пустяков, – это было настоящее похмелье в чужом пиру. Даже Татьяна Власьевна поддалась хитросплетенным наветам Марфы Петровны и наконец убедилась, что Савины и Колобовы виноваты во всем.

– А старухи-то, старухи – настоящие злыдни, так и шипят! – подсказывала Марфа Петровна. – Вишь, им поперек горла стало ваше-то золото... Зависть одолела!

– Чтой-то, Марфушка, и люди за такие ноне пошли? – с тоской спрашивала Татьяна Власьевна.

– Ох, и не говори, Татьяна Власьевна... Не кормя, не поя, ворога не наживешь, голу-бушка!..

– А ведь ты верно сказала, Марфуша. Жили мы, никому не мешали и теперь не мешаем, а тут на-кася, какая притча стряслась! С чужими-то завсегда легче жить, чем со своими.

– Так, Татьяна Власьевна... С чужими делить нечего – вот и мир да гладь да божья благодать.

Всех чаще теперь бывали в брагинском доме Пятовы, то есть Нил Поликарпыч и Феня. Сам Пятов, высокий, тощий брюнет с лысой головой, отличался своей молчаливостью и необыкновенным пристрастием к разным домашним средствам: он всегда считал себя чем-нибудь больным и вечно лечился разными настоями и необыкновенно мудреными мазями. Все это составлялось по самым таинственным рецептам, и каждое средство помогало по крайней мере сотне людей, хотя Нилу Поликарповичу не делалось легче, и он с новым терпением изыскивал что-нибудь неиспробованное. Овдовев в молодых годах, он теперь находился на полном попечении дочери, которая не чувствовала никакого расположения к лекарствам и лечению. Единственная дочь, избалованная с детства, Феня не знала запрета ни в чем и делала все, что хотела. Бойкая и красивая, с светло-русой головкой и могучей грудью, эта девушка изнывала под напором жизненных сил, она дурачилась и бесилась, как говорила Татьяна Власьевна, не зная устали, хотя сердце у ней было доброе и отходчивое. У Пятова был еще сын Володька, но тот сбился давно с панталыку и теперь жил где-то на приисках, подальше от родительских глаз. Феня и Нюша росли вместе и были почти погодки; они подходили и по характеру друг к другу, и по тому, что выросли без матери. Феня рассказывала бесконечную историю о своих женихах, которые являлись с самыми фантастическими достоинствами, как мифологические божества.

– Уж не стала бы я по-твоему возиться с каким-нибудь Алешкой Пазухиным! – не раз говорила Феня, встряхивая своей желтой косой. – Нечего сказать, не нашла хуже-то!..

– Он славный, Феня...

– Славный, славный... Нечего сказать, нашла славного, шагу не умеет ступить.

– Да мне с ним не танцевать.

– Танцевать не танцевать, а в люди показаться совестно. Такие у попов страшные бывают... Славный!.. Я ему вот когда-нибудь так в шею накладу, – вот тебе и славный!

– Я и сама так думала, только мне его жаль, Феня, так жаль... Я тебе не умею сказать, как жаль! Недавно они у нас все в гостях были... Ну, сидели, чай пили, а когда пошли домой, Алешка и говорит мне: «Прощайте, Анна Гордеевна...» А сам так на меня смотрит, жалостливо смотрит. «Что, – говорю я ему, – умирать, что ли, собрался?» – «Нет, – говорит, – а около того... Теперь, – говорит, – вы стали богатые; а пеший конному не товарищ». Вот этим он меня и зарезал... Стою я да смотрю на него, как дура какая, а потом как поцелую его... Так и сказала прямо, что либо за него, либо ни за кого!

– Ого!.. Так вы вот как?! Ну, это все пустяки. Я первая тебя не отдам за Алешку – и все тут... Выдумала! Мало ли этаких пестерей на белом свете найдется, всех не пережалеешь... Погоди, вот уж налетит ясный сокол и прогонит твою мокрую ворону.

– Нет, Феня... я уже сказала и от своего слова не отопрусь.

– Ну-ну... Девичья память короткая: до порога!

Эти речи сильно смущали Нюшу, но она скоро одумывалась, когда Феня уходила. Именно теперь, когда возможность разлуки с Алешкой являлась более чем вероятной, она почувствовала со всей силой, как любила этого простого, хорошего парня, который в ней души не чаял. Она ничего лучшего не желала и была счастлива своим решением.

В общей сумятице, поднятой брагинской жилкой, чистой от всяких расчетов и соображений корыстного характера оставалась пока одна Нюша, что и проявлялось в ее отношениях к Алеше. Девушка любила нетронутым молодым чувством, без всякой задней мысли, и новая обстановка, ломавшая старые батюшкины устои, еще не коснулась ее. Пелагея Миневна наблюдала Нюшу и с радостью замечала, что эта девушка остается прежней Нюшей, только бы Господь пособил пристроить ее за Алешку. Расчетливая старушка хорошо понимала, что такого важного дела отнюдь не следует откладывать в долгий ящик: обстоятельства быстро менялись, а с ними могли измениться и намерения большаков Брагиных относительно судьбы Нюши. Пелагея Миневна и Марфа Петровна были уверены, что Брагины отдадут Нюшу за Алешу, потому что она одна у них, пожалеют отдать куда-нибудь далеко, а тут рукой подать, всего через дорогу перейти. Притом Алеша парень смиренный, работающий, и семья у них маленькая; ну и достатков хватит на их-то век. Сама Татьяна Власьевна давала понять несколько раз, что она с удовольствием отдаст Нюшу за Алешу; а если Татьяна Власьевна этого хотела, то Гордей Евстратыч и подавно.

Пелагея Миневна целые Святки все выбирала удобный случай, чтобы еще поговорить по душе с Татьяной Власьевной; а там, заведенным порядком, и сватов можно было заслать. Но время для такого разговора все как-то не выдавалось: то гости у Брагиных, то что. Только этак накануне Нового года Пелагея Миневна собралась-таки к Брагиным. Надела старинный шелковый сарафан, по зеленому полю с алой травкой, подпоясалась старинным плетеным шелковым поясом, на голову надела расшитую золотом сороку и в таком виде, положив установленный начал перед дедовским образом, отправилась в брагинский дом.

– У них теперь никого и дома-то нет, кроме старухи, – говорила провожавшая ее Марфа Петровна. – Мужики на Смородинке, Дуня в лавке, Нюша у Пятовых, надо полагать... В добрый час, Пелагея Миневна!.. Господи благослови!..

Торжественный вид, с которым вошла Пелагея Миневна на половину Татьяны Власьевны, даже немного испугал последнюю: она по глазам видела, зачем пришла Пелагея Миневна. Усадив гостью и заказав Маланье самовар, Татьяна Власьевна принялась беседовать о том и о сем, точно не понимала, зачем явилась гостья. Покалякали бабьим делом, посудачили, поперемыш-

вали косточки, кто подвернулся под руку, а сами все ни с места. Пелагея Миневна выпила две чашки чаю, похвалила стряпню Маланьи и вообще довольно тонко польстила хозяйке.

– Какая наша стряпня, Пелагея Миневна, – скромничала довольная Татьяна Власьевна. – Маланья стара стала да упряма, все поперек хочет делать.

– Что вы это говорите, Татьяна Власьевна?.. У вас теперь и замениться есть кем: две снохи в доме... Мастерницы-бабочки, не откуда-нибудь взяты! Особенно Ариша-то... Ведь Агнея Герасимовна первая у нас затейница по всему Белоглинскому, ежели разобрать. Против нее разве только у вас состряпают, а в других прочих домах далеко не вплоть.

Татьяна Власьевна промолчала. Гостья задела неловко наболевшее место о недавней ссоре с Савиными и Колобовыми.

– Ах, голубушка Татьяна Власьевна, а вот мне так и замениться-то нечем... – перешла в минорный тон Пелагея Миневна, делая то, что в периодах называется понижением. – Плохая стала, Татьяна Власьевна, здоровьем сильно скудаюсь, особливо к погоде... Поясницу так ломит другой раз – страсти!.. А дочерей не догадалась наростить, вот теперь и майся на старости лет...

Это в диалектическом отношении был очень ловкий приступ, и Татьяне Власьевне стоило только сказать, что, мол, «Пелагея Миневна, вашему горю и помочь можно: сын на возрасте, жените – и заменушку в дом приведете...». Но важеватая старуха, конечно, ничего подобного не высказала, потому что это было неприлично, – с какой стати она сама стала бы навязываться Пазухиным?..

– А Марфа Петровна? – уклончиво спросила Татьяна Власьевна. – Кабы у меня были такие золотые руки, да я бы, кажется, еще сто лет прожила...

– Это вы справедливо, Татьяна Власьевна... Точно, что наша Марфа Петровна целый дом ведет, только ведь все-таки она чужой человек, ежели разобрать. Уж ей не укажи ни в чем, а боже упаси, ежели поперешное слово сказать. Склалась, только ее и видел. К тем же Шабалиным уйдет, ей везде дорога.

– Что говорить, что говорить!.. – покачивая головой, согласилась Татьяна Власьевна. – Тоже вот и язычок у Марфы-то Петровны...

– Ох, и не говорите, Татьяна Власьевна! Стыдно сказать, а грех утаить: плачу я от ее языка, слезно плачу... Конечно, про себя перенесешь – и молчок, не в люди же нести свою сухоту. Донимает она меня этим своим язычком, так донимает... А я сама-то стара становлюсь, ну и терпишь.

Гостья так расчувствовалась, что даже вытерла глаза уголком своего кисейного передника, подвязанного, конечно, под самые мышки. Старушки еще побеседовали, а потом Пелагея Миневна начала прощаться.

– Заболталась я у вас, Татьяна Власьевна... Извините уж на нашей простоте! К нам-то когда вы пожалуете?

– А вот соберемся как-нибудь... Спасибо, что нас грешных не забываете, Пелагея Миневна. Нынче как-то и не применишься к людям... Гордость всех одолела...

Пелагея Миневна, накидывая в передней платок на голову, с соболезнаванием покачала только головой: очевидно, Татьяна Власьевна намекала на недоразумения с Савиными и Колобовыми. Накидывая на плечи свою беличью шубейку, Пелагея Миневна чувствовала, как все у нее внутри точно похолодело, – наступил самый критический момент... Скажет что-нибудь Татьяна Власьевна или не скажет? Когда гостья уже направилась к порогу, Татьяна Власьевна остановила ее вопросом:

– А где у вас Алексей-то Силыч? Что-то ровно его не видать...

– Да при лавке больше, Татьяна Власьевна. Он ведь домосед у нас, сами знаете, не любит больно-то расхаживать.

– Смиранный парень, что говорить... Надо вам за него Бога молить, Пелагея Миневна. Эдаких-то кротких да послушных по нынешним временам надо с огнем поискать!..

Этого было совершенно достаточно... Татьяна Власьевна сама вызывала на сватовство последним отзывом, и Пелагея Миневна вышла в сени в радостном волнении, от которого у ней кружилась голова. «Устрой, Господи, все на пользу!» – шептала она про себя, спускаясь по лесенке во двор. Пелагея Миневна в своем радужном настроении дошла до самых ворот и только хотела взяться за кольцо калитки, как она растворилась сама, а в калитке показалась женская высокая фигура в двух шубах с наглухо завернутой головой в несколько шалей.

– Алена Евстратьевна!.. – проговорила Пелагея Миневна, пристально вглядываясь в стоящую неподвижно женскую фигуру. – Откуда Бог несет?

– Из Верхотурья приехала, – как-то нехотя ответила Алена Евстратьевна, оглядывая Пелагею Миневну с ног до головы.

– Аль не узнали меня-то?

– Что-то как будто запомнила...

– Пазухиных-то, может, еще не забыла, Алена Евстратьевна? Суседи в прежнее время были с вами...

– Да-да... помню.

Алена Евстратьевна даже не подала руки Пелагее Миневне, а только сухо ей поклонилась, как настоящая заправская барыня. Эта встреча разом разбила розовое настроение Пелагеи Миневны, у которой точно что оборвалось внутри... Гордячка была эта Алена Евстратьевна, и никто ее не любил, даже Татьяна Власьевна. Теперь Пелагея Миневна постояла-постояла, посмотрела, как въезжали во двор лошади, на которых приехала Алена Евстратьевна, а потом уныло поплелась домой.

«И принесло же ее ни раньше ни после... – сердито думала Пазухина, подходя к своему дому. – Пожалуй, все наше дело испортит. Придется погодить, видно, как она в свое Верхотурье уберется...»

Марфа Петровна видела, как приехала Алена Евстратьевна, и все поняла без объяснений: случай вышел не в руку; ну да все под Богом ходим, не век же будет жить в Белоглинском эта гордячка.

Появление Алены Евстратьевны произвело в брагинском доме настоящий переворот, хотя там ее никто особенно не жаловал. Раньше она редко приезжала в гости и оставалась всего дня на два, на три; но на этот раз по всем признакам готовилась прогостить вплоть до последнего санного пути.

– На наше золото прилетели, Алена Евстратьевна? – язвительно спрашивал Зотушка, кутивший все праздники.

– Какое золото? – удивилась Алена Евстратьевна.

– Отец-то разве не описывал тебе ничего? – спрашивала Татьяна Власьевна: она называла Гордея отцом, как большака в семье.

– Ничего мы не получали. А я прихворнула перед Рождеством-то, а то бы раньше приехала...

«Врет, все врет наша Аленушка... – думал пьяный Зотушка, улыбаясь хитрой улыбкой. – На жилку ворона прилетела, только не даром ли крыльями, милая, махала?..»

Алене Евстратьевне было за сорок; это была полная, высокая женщина, с красивым лицом, на котором тенью лежало что-то фальшивое и хитрое. Серые большие глаза Алены Евстратьевны смотрели прямо и нахально, особенно когда она улыбалась. Одевалась она всегда по моде, то есть носила платья, шляпки, воротнички, корсет и т. д. Муж Алены Евстратьевны хотя и занимался подрядами и числился во второй гильдии, но, попав в земские гласные, перевел себя совсем на господскую руку, то есть он в этом случае, как миллионы других мужей, только плясал под дудку своей жены, которая всегда была записной модницей.

Алена Евстратьевна до страсти любила распоряжаться и совать свой нос решительно везде; потому, едва успев переодеться с дороги, она начала производить строгую ревизию по всему дому, причем находила все не так, как тому следовало бы быть. Особенно досталось от нее невесткам; Алена Евстратьевна умела подносить самые горькие пилюли с ласковой улыбкой. Нюша попробовала было вступить с тетушкой зуб за зуб, но была разбита и уничтожена. В каких-нибудь три дня гостя овладела всем домом и распоряжалась в нем, как победитель в завоеванной провинции. Даже сам Гордей Евстратыч, недолюбивавший сестричку за ее характер, теперь как-то совсем поддался ей и даже заметно ухаживал за ней. Татьяна Власьевна удивлялась такой перемене и в то же время сама начала относиться к нелюбимой дочери с бóльшим уважением и даже раза два советовалась с ней.

– Как это вы живете, Гордей Евстратыч? – говорила Алена Евстратьевна. – Разве это порядок в доме? Точно какие-нибудь прасолы... Всякий, как в комнаты зашел, сейчас и видит вашу необразованность!

– Ладно нам, Алена Евстратьевна... Куда уж нам за богатыми гоняться! – ответил Гордей Евстратыч. – Век прожили не хуже других...

– Вам-то хорошо так говорить, а дети как? Тоже в необразованности хотите оставить, на посмеяние всем?.. Или взять Нюшу теперь... Девушка невеста, а порядочному жениху стыдно в дом приехать... Это какая-то лачуга, а не дом. Вон Вукол Логиныч устроил себе домик, так хоть кого не стыдно в нем принять. Взять эти ваши сарафаны... Кроме Белоглинского завода, во всем свете больше не увидишь, чтобы девушки или молодые женщины в сарафанах ходили... Взять хоть наше Верхотурье... Нет, братец, по вашим теперешним достаткам так жить невозможно! Уж вы как там хотите с маменькой, а только это не порядок в доме... Спросите у кого угодно, как по другим-прочим местам богатые люди живут.

Гордей Евстратыч для видимости противоречил, но внутренне был совершенно согласен с сестрой: так жить дальше было невозможно, совестно, взять хоть супротив того же Вукола Логиныча. У того вон как все устроено в дому, вроде как в церкви.

– Вон у нас какая печка безобразная стоит, Гордей Евстратыч, – не унималась Алена Евстратьевна. – Весь дом портит...

– Ну уж это ты напрасно... Печку не уберу! Лучше другой дом выстрою. Дай срок, вот золота летом намоем, тогда такую музыку заведем...

– В том-то и дело, Гордей Евстратыч, чтобы от других не отстать... А то совестно к вам приехать!.. И компания у вас тоже самая неподходящая: какие-то Пазухины... Вы должны себя теперь очень соблюдать, чтобы перед другими было не совестно. Хорошему человеку к вам и в гости прийти неловко... Изволь тут разговаривать с какой-то Пелагеей Миневной да Марфой Петровной. Это непорядок в доме...

– А я печку не буду ломать, – продолжал Гордей Евстратыч, отвечая самому себе, – вот полы перестлать или потолки раскрасить – это можно. Там из мебели что поправить, насчет ковров – это все сделаем не хуже других... А по осени можно будет и дом заложить по всей форме.

Одним словом, Алена Евстратьевна пошла кутить и мутить, точно ее бес подмывал. Большаки слушали ее потому, что боялись, как бы не отстать от других; молодые хоть и недолюбивали ее, но тоже слушали, потому что Алена Евстратьевна была записная модница и всегда ходила в платьях и шляпках.

А на Смородинке золото так и лезло из земли – что неделя, то и два да три фунта. После Крещения Гордей Евстратыч еще сгонял в город и еще сдал золота. А Алена Евстратьевна живет себе да поживает у милого братца и, видимо, желания никакого не имеет обратиться в свое Верхотурье. Двенадцатого января Татьяна Власьевна была именинница. Этот день праздновался в брагинском доме очень скромно и по-старинному: накануне о. Крискент служил всенощную, утром женщины шли в церковь к обедне, потом к чаю собирались кой-кто из зна-

комых старушек, съедали именинный пирог, и тем все дело кончалось. И на этот раз все устроилось так же. Только после обедни не пришли ни от Савиных, ни от Колобовых, что очень огорчило Татьяну Власьевну; из посторонних были только Пелагея Миневна с Марфой Петровой да еще стрекоза Феня. Мужчины хотели приехать с прииска только к вечеру, потому работа не ждала. Прибрел еще о. Крискент в своей фиолетовой ряске. За чаем сидели и калякали о разных разностях, главным образом за всех говорила модная Алена Евстратьевна, которая распространялась все насчет настоящих порядков в доме. Отец Крискент благочестиво соглашался, склонял головку набок и шептал: «Да, да!»

– Баушка, ведь это к нам! – крикнула Нюша, бросаясь к окну.

К воротам брагинского дома лихо подкатили лакированные сани станového, заложенные парой наотлет; в них с Плинтусовым сидел мировой Липачек.

– Видно, к Гордею Евстратычу, – сообразила Татьяна Власьевна.

Все женщины поспешили перебраться из парадных комнат на половину Татьяны Власьевны; остались на своих местах только о. Крискент да Алена Евстратьевна.

– Милости просим, милости просим. Только вот Гордея Евстратыча нет дома: еще не приехал с прииска...

– А мы не к нему, а к вам, Татьяна Власьевна, – говорил Плинтусов, щелкая каблуками. – Нарочно приехали поздравить вас с днем вашего тезоименитства.

Плинтусов фатовато прищурил свои сорочьи глаза и еще раз щелкнул каблуками; Липачек повторил то же самое. Татьяна Власьевна была приятно изумлена этой неожиданностью и не знала, как и чем ей принять дорогих гостей. На этот раз Алена Евстратьевна выручила ее, потому что сумела занять гостей образованным разговором, пока готовилась закуска и раскупоривались бутылки.

«И меня, старуху, вспомнили», – думала Татьяна Власьевна, польщенная этим вниманием.

– Мы еще третьего дня сговорились ехать к вам вместе, – докладывал Плинтусов, выплескивая в свою пасть первую рюмку.

– Как же это вы так надумали?... Напрасно только себя беспокоили, – точно оправдывалась Татьяна Власьевна. – Мы маленькие люди...

– Ах, маменька, какие вы, право, – жеманно возражала Алена Евстратьевна, совсем сконфуженная незнанием Татьяны Власьевны светских приличий. – Это везде так принято в порядочном обществе...

Плинтусов и Липачек не успели выпить по второй рюмке, как подкатил на своем сером Шабалин, а вслед за ним Пятов. Словом, гостей набрался полон дом.

– Вот мы и поздравим старушку соборне, – кричал Вукол Логиныч, хлопая Татьяну Власьевну по плечу. – Так ведь, отец Крискент?... Я хоть и не вашей веры, а выпить вместе не прочь...

Все наперерыв старались выразить свое уважение не только Татьяне Власьевне, но и Алене Евстратьевне. Даже неразговорчивый Липачек и тот повторял каждое слово Плинтусова.

– Ведь их надо будет оставить обедать, – соображала Татьяна Власьевна, считая гостей по пальцам. – Ох, горе мое, а у нас и стряпни никакой не заведено!..

Но Алена Евстратьевна успокоила маменьку, объяснив, что принято только поздравить за закуской и убираться восвояси. Пирог будет – и довольно. Так и сделали. Когда приехал с прииска Гордей Евстратыч с сыновьями, все уже были навеселе порядком, даже Нил Поликарпыч Пятов, беседовавший с о. Крискентом о спасении души. Одним словом, именины Татьяны Власьевны отпраздновались самым торжественным образом, и только конец этого пиршества был омрачен ссорой Нила Поликарпыча с о. Крискентом.

Дело вышло из-за церковного староства. Отец Крискент политично завел разговор на тему, что Нил Поликарпыч уже поработал в свою долю на дом Божий и имеет полное право теперь отдохнуть.

– Надо и другим в свою долю поработать, Нил Поликарпыч, – пояснил свою мысль о. Крискент с вкрадчивой улыбкой.

– Не пойму я вас что-то, отец Крискент.

– А очень просто... Мы выберем в старосты Гордея Евстратыча – пусть его постарается для Бога.

– А... так вы вот как, отец Крискент!.. Значит, вам не служба дорога, а деньги.

И пошел, и пошел. Старик не на шутку разгорячился и даже покраснел. Бедный о. Крискент весь съежился и лепетал что-то такое несообразное в свое оправдание. Даже Липачек и Плинтусов не могли унять расходившегося старика...

– Правду, видно, старинные люди сказывали, – кричал Нил Поликарпыч, горячась и размахивая руками, – что, мол, прежде сосуды по церквам были деревянные, да попы золотые, а нынче сосуды стали золотые, так попы деревянные.

Отец Крискент обиделся в свою очередь на такое оскорбление. Гордей Евстратыч хотел помирить своих гостей; но это вмешательство окончательно взбесило Нила Поликарпыча.

– Нет, Гордей Евстратыч, видно, нам не приходится водить с вами компанию... – заявил Пятов, хватаясь за шапку. – Вы богатые стали, лучше нас найдете.

– Что вы, Нил Поликарпыч, батюшка... – заголосила Татьяна Власьевна, удерживая Нила Поликарпыча за руку. – Отец Крискент!.. Нил Поликарпыч!..

– Мамынька, оставь!.. – грозно приказал Гордей Евстратыч.

Из старых друзей остались только о. Крискент да Пазухины... Вот тебе и бабушкины именины, – нечего сказать, отпраздновали!..

XI

Наступала весна. Дорога почернела; с крыш капала вода, а по ночам стоки и капельники обрастали ледяными сталактитами. Солнце разъедало снег, который чернел от пропитывавшей его воды и садился все ниже и ниже, покрываясь сверху мусорным налетом. Горные речонки начали набухать и пожелтели от выступивших наледей; сочившаяся из почвы весенняя вода точила дряблый лед, образуя черневшие промоины и широкие полыньи. По взлобочкам и прикрутостям, по увалам и горovým местам выглянули первые проталинки с включенной, бурой прошлогодней травой; рыжие пятна таких проталин покрывали белый саван точно грязными заплатами, которые все увеличивались и росли с каждым днем, превращаясь в громадные прорехи, каких не в состоянии были починить самые холодные весенние утренники, коробившие лед и заставлявшие трещать бревна. В воздухе наливалась и росла та сила, которая, точно сознательно, уничтожала шаг за шагом остатки суровой северной зимы. Даже холод, достигавший по ночам значительной силы, не имел уже прежней всеокрушающей власти: земля сама давала ему отпор накопившимся за день теплом, и солнечные лучи смывали последние следы этой борьбы. Несколько раз принимался идти мягкий пушистый снег, и народ называет его «сыном, который пришел за матерью», то есть за зимой.

Только в лесу еще лежал глубокий снег, особенно по логам и дремучим лесным гушам. Здесь солнце не в силах его достать и может только растопить лежавший на ветвях белый пушистый слой, превратив его в ледяные сосульки, которыми мохнатые зеленые лапы елей и сосен были изувешаны, как брильянтовыми подвесками и поднизями. Стройные ели и пихты, опущенные утренним инеем, стояли осыпанные брильянтами, как невесты; этот подвенечный наряд таял и снова нарастал каждую ночь, как постоянно возобновлявшаяся красота. Темная зелень хвои сливалась в необыкновенную гармонию с искрившейся белизной снежных покровов, создавая неувядавшую гармонию красок и тонов, особенно рядом с мертвыми остовами осин, берез и черемух, которые так жалко таращили свои набухавшие голые ветви. Самые дикие лесные уголки дышали великой и могучей поэзией, разливавшейся в тысячах отдельных деталей, где все было оригинально, все полно силы и какой-то сказочной прелести, особенно по сравнению с жалкими усилиями человека создать красками или словом что-нибудь подобное. Вторжение человека в жизнь природы с целью воспроизвести ее красоты, тем или другим путем, каждый раз разбивается самым беспощадным образом, как галлюцинации сумасшедшего. Воровство, шитое на живую нитку, трещит и рвется по всем швам, обнажая наше самоуверенное и самодовольное невежество. Достаточно указать на тот факт, что наш вкус находит дисгармонию в сочетаниях зеленого и голубого цветов, а природа опровергает наши художественные настроения на каждом шагу, сочетая синеву неба с зеленью леса и травы почти в музыкальную мелодию, особенно на севере, где природа так бедна красками.

С наступлением весны работа на Смородинке закипела. Заканчивали маленькую плотинку, которую речка Смородинка запруживалась; ставили паровую машину, били третью шахту и т. д. Картина нового прииска представляла самый оживленный лесной уголок: лесная гуща точно расступилась, образовав неправильную площадь, поднимавшуюся от Смородинки на увал; только что срубленные и сложенные в костры деревья образовали по краям что-то вроде той засеки, какая устраивалась в прежние времена на усторожливых местечках на случай нечаянного неприятельского нападения; новенькая контора точно грелась на самом угоре; рядом с ней выросли амбары и людская, где жили кучера и прислуга. Отвалы из промытых песков и просто земли, добытой из шахты, образовали несколько отдельных гряд, точно валы какой-то земляной крепости. Деревянный сарай над жилкой, дробильная машина и главный корпус, где совершалась промывка золота, дополняли картину прииска, на котором теперь работало до трехсот человек.

Гордей Евстратыч живмя жил на прииске и выезжал домой очень редко. Михалко и Архип были неотлучно при нем, заменяя приисковых служащих. Михалко наблюдал за рабочими, рассчитывал их по субботам, а по праздникам ездил в Белоглинский завод производить необходимые покупки из харчей, одежды и всякого другого припаса, который требовался на прииске; Архип занимался больше письменной частью и старательно вел приисковые книги. Работы всем было по горло, и Гордей Евстратыч заметно похудел за это время, а на лбу у него появилось несколько морщин. По целым часам он высиживал в своей конторе со счетами в руках, делая сметы и необходимые соображения. Золото шло богатое, но чем больше получалась дневная выручка, тем задумчивее и суровее становился Гордей Евстратыч: ему все было мало, и на головы Михалка и Архипа сыпалось бесконечное ворчанье.

– Ничего вы не смотрите, дармоеды! – ругался Гордей Евстратыч, шагая по конторке. – Ну какой у нас порядок? По миру скоро все пойдем... Вот Шабалин не по-нашему поворачивается с приисками!..

Михалко и Архип больше отмалчивались в этих случаях и в душе проклинали жилку, которая душила их бесконечной работой. Ими еще не овладел тот бес наживы, который мучил Гордея Евстратыча, не давая ему покоя ни днем ни ночью. Брагину все было мало; его жадность росла вместе с приливающим богатством. К Пасхе он положил в банк двадцать тысяч и не испытывал никакой радости, потому что можно было бы заработать в зиму в два раза двадцать. Ведь наживается же Шабалин и другие, а чем он, Брагин, грешнее этих других? Кроме этого, Гордей Евстратыч сделался крайне подозрительным и недоверчивым человеком, потому что везде видел обман и подвохи: даже родным детям он не доверял теперь и постоянно их поверял. Рабочие являлись в его глазах скопищем воров и разбойников, которые тащат на сторону его золото...

Даже те расходы, которые производились на больного Маркушку, заметно тяготили Гордея Евстратыча, и он в душе желал ему поскорее отправиться на тот свет. Собственно расходы были самые небольшие – рублей пятнадцать в месяц, но и пятнадцать рублей – деньги, на полу их не подынешь. Татьяне Власьевне приходилось выхлопывать каждый грош для Маркушки или помогать из своих средств.

– Чтой-то, милушка, какой ты скупой стал! – мягко упрекала сына Татьяна Власьевна. – Ведь Маркушка не чужой нам, можно его успокоить... Да и недолго он натянёт: доживет не доживет до полой воды!

– Ну, мамынька, он еще нас переживет, Маркушка-то... Чего ему не жить: харч готовый, все готовое. Ты к нему каждую неделю ездешь – это тоже денег стоит, потому лошади лишних полпуда овса могут стравить. Так я говорю, мамынька? На нашей шее немало дармоедов сидит... Хоть взять Зотея: ну что он за человек таков? Ест наш хлеб, и все тут, а пользы никакой. Теперь бы вот на прииски его поставить, а разве ему можно довериться? Только попади денежки в руки – и пошел чертить. Вот оно, мамынька, и подумаешь с подушечкой... Всем подай, обо всех позаботься, а карман один.

– Как же раньше-то, Гордей Евстратыч, ты ничего не говорил про Зотушку? – удивлялась Татьяна Власьевна. – Уж не объест же он нас... Чужим людям подаем, а своего не гнать же.

– Мало ли чего прежде-то было, мамынька... Дураками мы жили, вот что! Надо за ум взяться... Ты вот за снохами-то присматривай: товару в лавке много, пожалуй, между рук не ушел бы!

– Что ты, что ты, милушка! Христос с тобой... Да разве они воровки какие?

– Я не говорю, мамынька, что воровки, а говорю: «Мамаынька, смотрите в оба...» После смерти не покаешься.

Сначала такие непутевые речи Гордея Евстратыча удивляли и огорчали Татьяну Власьевну, потом она как-то привыкла к ним, а в конце концов и сама стала соглашаться с сыном, потому что и в самом деле не век же жить дураками, как прежде. Всех не накормишь и не

пригреешь. Этот старческий холодный эгоизм закрадывался к ней в душу так же незаметно, шаг за шагом, как одно время года сменяется другим. Это была медленная отравка, которая покрывала живого человека мертвящей ржавчиной.

– И в самом-то деле, что это мы больно раскошелились?.. – удивлялась Татьяна Васильевна, точно просыпаясь от какого-то долгого сна. – Ведь Шабалины не кормят всяких пропойцев, да не хуже других живут...

– Верно, мамынька, – подтверждал Гордей Евстратыч. – Ты рассуди только то, что открой Маркушка кому другому жилку, да разве ему какая бы польза от этого была?.. Ну а мы свое дело сделали...

– А клятва-то, милушка?

– Клятва – другое, мамынька... Мы за него вечно будем Богу молиться, это уж верно. А насчет харчу и всякого у нас и клятвы никакой не было... Так я говорю, мамынька?

– Так, милушка... Только как будто страшно: ведь ежели разобрать, так жилка-то все-таки от Маркушки нам досталась.

– Ах, мамынька, мамынька! Да разве Маркушка сам жилку нашел? Ведь он ее вроде как украл у Кутневых; ну а Господь его не допустил до золота... Вот и все!.. Ежели бы Маркушка сам отыскал жилку, ну, тогда еще другое дело. По-настоящему, ежели и помочь кому, так следовало помочь тем же Кутневым... Натурально, ежели бы они в живности были, мамынька.

– Все перемерли, все!.. – с какой-то радостью подхватила старуха и после короткого раздумья прибавила: – А ведь ты верно, милушка, насчет Маркушки-то все обсказал...

– Уж я тебе говорю, мамынька: вернее смерти.

А виновник этих забот и разговоров, кажется, не подозревал совсем той перемены, какая произошла в Брагиных по отношению к нему. В лихорадочно работавшем мозгу Маркушки назревала отчаянная идея, о которой он пока еще никому не говорил. Она обдумывалась в течение полугода, в бессонные зимние ночи, когда Маркушка оставался в своем балагане один-одинешенек. Тянулись бесконечные мучительные часы, дни, недели, месяцы, а Маркушка все обдумывал одно и то же, не имея сил сдвинуться в которую-нибудь сторону. Идея Маркушки росла и крепла в его душе так же, как вырастает растение из маленького зернышка, пуская корни и разветвления все глубже и глубже.

В конце этого психологического процесса Маркушка настолько сросся с своей идеей, что существовал только ею и для нее. Он это сам сознавал, хотя никому не говорил ни слова. Удивление окружающих, что Маркушка так долго тянет, иногда даже смешило и забавляло его, и он смотрел на всех как на детей, которые не в состоянии никогда понять его.

– Вот вода тронется с гор, тогда и ты помрешь, – утешал кривой Потапыч больного. – Уж это завсегда так бывает...

Кайло и Пестерь были того же мнения и мрачно покуривали свои носогрейки. Эти благочестивые люди в последнее время находились особенно в мрачном настроении, потому что «язвы», то есть Окся, Лапуха и Домашка, окончательно бросили Полдневскую, переселившись на Смородинку, где нашли десятки новых обожателей. Полное одиночество нагоняло на Кайло и Пестеря философские мысли о суете сует этого грешного мира. Только когда они напивались, сейчас брели на Смородинку и затевали отчаянную драку с своими счастливыми соперниками, причем были биты много и очень долго. «Язвы» щеголяли напропалую в новых кумачных сарафанах и с новыми синяками по всему телу, точно последним путем им выделявали кожу для какого-то особенного употребления. Маркушка еще раз мог убедиться, что Окся и Лапуха никогда этим путем не достигнут селения праведных.

– Ну что, били? – иногда спрашивал он своих приятелей.

– Погоди, еще не уйдут от наших рук, – мрачно отвечал Кайло.

– Надо их хорошенько отлупить... – советовал Маркушка, вздыхая. – И Домашку и ту надо взлупить.

– И Домашку взлупим, Маркушка. Мы ей ноги выдергаем...

Маркушка от этих разговоров испытывал неприятное волнение и страшно завидовал Пестерю и Кайло, которые могли получить удовлетворение оскорбленной чести; а он должен был оставаться безучастным зрителем этой драмы. Курсы полдневских женщин действительно поднялись на небывалую высоту в силу того экономического закона, по которому превышение спроса увеличивает цену предметов потребления. Но Маркушка, как Пестерь и Кайло, совсем были незнакомы с основными аксиомами политической экономии и одинаково были далеки как от христианского смирения, так и от безропотного повиновения железным законам природы.

– Вы их заманите обманом... – советовал несколько раз Маркушка.

– Нейдут, шельмы!.. Пестерь обещал Домашке новый сарафан, да нейдет.

Маркушка опять волновался. Его воображение мучили самые ревнивые картины, перед которыми отступала на мгновение даже мысль о смерти. А смерть стояла за плечами... Маркушка чувствовал ее приближение своим немевшим разбитым телом. Наступление весны убеждало его в этом еще более. Когда и в его лачугу заползал солнечный луч, долго игравший на грязном полу, Маркушка чувствовал, что никакому солнцу уже не согреть его, как чувствовал то, что последний запас жизненной силы уйдет от него вместе с вешней водой. Эта вешняя вода и пугала и радовала его. Лежа с закрытыми глазами, Маркушка часто испытывал совершенно особенное чувство: его именно подхватывала эта вешняя вода и с увеличивающейся быстротой начинала нести вперед, как несет пловца быстрая река. Кругом Маркушки несло все, и он просыпался с глухим стоном и, как утопающий, с радостью коснеющими руками хватался за впечатления действительности. С наступлением весны эти мучительные сны стали повторяться чаще, стоило только Маркушке закрыть глаза. Вода журчала на полу его лачуги, пенистые валы разбивались о стены, на улице бушевал бурный клокочущий потоп, и беспощадная стихийная сила подступала все ближе и ближе, подмывая существование Маркушки. Даже открыв глаза, он долго не мог освободиться от страшных звуков: вода продолжала у него журчать в ушах и точно переливалась в самом мозгу.

С другой стороны, Маркушка страстно желал, чтобы вода скорее тронулась с гор: дотянуть до этого момента было его заветной мечтой. Только бы стаял снег и высыпала первая травка по проталинкам. Маркушка чувствовал обновляющуюся природу, как чувствовал и то, что сам он не может принять участия в этом обновлении, и каждую минуту готов был отлететь в сторону, отвалившись мертвым куском от общей живой массы, совершившей установленный круговорот. Какая-то страшная сила выталкивала его за черту органического существования, в темное безграничное пространство, ужасавшее его своим бессознательным существованием.

«Только бы до травы...» – думал Маркушка, заглядывая в слепое окошко своей лачуги.

А там, за стенами Маркушкиной избушки, уже гудела в воздухе закипавшая жизнь. На прогнившей крыше этой избушки часто садились прилетевшие скворцы, и их свист заставлял Маркушку вздрагивать. Больной слышал трудовую возню воробьев, которые теребили мох из его избушки и радостно щебетали и чирикали словно сумасшедшие. Солнечные лучи все глубже и глубже заглядывали в избушку, точно они выщупывали в ней своими сверкавшими пальцами; они подолгу оставались на закоптелых стенах, делая их еще чернее. В отворенную дверь тянуло свежей струей воздуха, которая раздражала Маркушку; в воздухе пахло водой... Когда северная весна пошла вперед быстрыми шагами, Маркушка уже еле дышал. Кашель усилился. Его душила скоплавшаяся внутри мокрота, будто на его груди была положена тяжелая чугунная доска.

Раз в светлый теплый весенний денек Маркушка пригласил к себе своих приятелей, Пестерь и Кайло, и предложил им нечто от «воды веселия и забвения». Эта порция водки была им куплена давно и хранилась под кроватью. Пестерь и Кайло пили стакан за стаканом и удивлялись щедрой проницательности Маркушки: именно в этот день они умирали от жажды, и

Маркушка их спас... Совсем расчувствовавшийся Пестерь долго смотрел в упор на Маркушку и наконец проговорил:

– Что ты, шайтан, долго не помираешь?.. И вода с гор прошла, а ты все еще кочетыржишься!

– Вот что, братцы... – заговорил Маркушка, собираясь с силами. – Не ходите вы завтра робить на Смородинку...

– И не пойдем, – согласился Кайло, чувявший какую-то новую поживу. – Ноне этот Гордей Евстратыч совсем изварначился...

– А что?

– Рабочих поедом съел... Все ему не ладно, все не так... Ругается... Намедни нас с Пестерем обыскивал... Ей-богу!..

Маркушка давно слышал о перемене в характере Брагина, на которого все рабочие начали громко жаловаться, но всегда отмалчивался.

– Да разве мы... ах, милосливый Господи!.. – ожесточенно выкрикивал Кайло, ударяя себя в грудь кулаком. – Маркушка... да ужли уж мы... Вот спроси Пестеря... а-ах!..

– Обнаковенно... ежели бы мы захотели украсть, так не попались бы, – согласился угрюмо Пестерь, мотая головой. – Комар носу бы не подточил... А то обыскивать!

– А, поди, крепко воруете? – спрашивал Маркушка, косвенно защищая Брагина.

– Маркушка... Да разве нам можно не воровать... а?.. Человек не камень, другой раз выпить захочет, ну... А-ах, милосливый Господи! Точно, мы кое-что бирали, да только так, самую малость... ну, золотник али два... А он обыскивать... а?!.. Ведь как он нас обидел тогда... неужли на нас уж креста нет?

– Вот что, братцы, вы завтра робить не ходите... – говорил Маркушка. – Я хочу беспрерывно поглядеть на Смородинку... так вы меня туда и снесите.

– Представим, Маркушка.

– Я вам заплачу, братцы...

– И так снесем. Все равно помрешь... Потапыча прихватим на всякий случай!..

Старатели пьянствовали в лачуге всю ночь напролет... Пестерь, умиленный выпитой водой, долго горланил песню, которую когда-то в Полдневской пели «язвы»:

Я без пряничка не сяду,
Без орешка не ступлю;
Я без милого не лягу,
Без надежи не усну...

Песня была веселая, и Кайло грузно отплясывал под пение Пестеря, шлепая своими грязными лаптями. Маркушка хрипел и задыхался и слышал в этой дикой песне последний вал поднимавшейся воды, которая каждую минуту готова была захлестнуть его. В ужасе он хватался рукой за стену и бессмысленно смотрел на приседавшего Кайло. И Кайло, и Пестерь, и Окся с Лапухой, и Брагин – все это были пенившиеся валы бесконечной широкой реки...

Утром на другой день Кайло смастерил из двух палок и пихтовой хвои носилки. На этих носилках старатели и потащили Маркушку на Смородинку. День был солнечный, ясный; воздух был пропитан смолистыми испарениями. По голубому небу торопливо бежали гряды белоснежных облаков; где-то заливались безыменные лесные птички. Приисковая дорога, проведенная из Полдневской на Смородинку, походила на корыто, по которому сбегала красноватая вода. Пестерь и Кайло сосредоточенно шлепали своими лаптями по лужам и несколько раз садились отдыхать где-нибудь в сторонке. Ноша была нелегкая, особенно при такой дороге. Маркушка лежал неподвижно как труп; он был страшен на свежем воздухе, и только открытые глаза оставались еще живыми.

– Эй ты, шайтан, умер, что ли? – несколько раз окликал свою ношу Кайло.

Вместо ответа Маркушка только кашлял и глухо хрипел. Сколько тысяч раз он прошел по этим местам, а дорогу к Заразной горе он прошел бы с завязанными глазами: все горы в окрестностях на пятьдесят верст кругом были исхожены его лаптями, а теперь Маркушка, недвижимый и распростертый, как пласт, только мог повторять своим обессиленным телом каждый толчок от своих неуклюжих носильщиков. Иногда он стонал, когда Кайло и Пестерь перепрыгивали через рытвины; но больше крепился, закрывая глаза от слепившего его солнца. Носильщики все время пути жаловались на Брагина, притеснявшего старателей, ругались самыми живописными сравнениями, сквернословили и несколько раз принимались корить Маркушку, зачем он «просолил жилку» Брагину.

– Тебе хорошо, черту... Умрешь, и вся тут, а мы как? – соображал Кайло, раздражаясь все больше и больше. – Шайтан ты, я тебе скажу... Не нашел никого хуже-то, окаянная душа! Он тебя и отблагодарил, нечего сказать... От этакого богатства мог бы тебе хошь десять рублей в месяц давать, а то...

Молчание Маркушки еще сильнее раздражало его приятелей, которые теперь от души жалели, что Маркушка не может головы поднять; а то они здорово бы полудили ему бока... Особенно свирепствовал Пестерь, оглашая лес самой неистовой руганью.

Но вот и Заразная, до самого верха обросшая дремучим ельником; вот и последний увал, вот и знакомый гул, доносившийся от нового прииска. Где-то в лесу звонко рубил топор сырое смолевое дерево; пахнуло дымом и смешанным гулом самых разнородных звуков, точно в лесу варился громадный котел. Кайло и Пестерь остановились наверху увала, откуда отлично можно было рассмотреть весь прииск. Маркушка приподнял голову и помутившимися глазами жадно смотрел под гору, где стояли конторка, дробилка, промывальная машина и десятки старательских вашгердов. Он не узнал своей жилки, хотя сердце у него забилося от радости при виде с детства знакомой картины.

– Ну, шайтан, гляди, это твоя работа... – корили Маркушку приятели. – Теперь Брагин будет раздуваться, как пузырь, нашим-то золотом.

– Пусть его... – прохрипел Маркушка. – На его душе грех...

Заветная идея Маркушки осуществилась наконец: он увидел свою жилку, которую хоронил и вынашивал в своей душе целых пятнадцать лет.

На другой день вечером Маркушка умер.

XII

Брагины загремели на целую «округу». Слава об их богатстве, окрыленная тысячью самых фантастических добавлений, облетела сотни верст, везде возбуждая зависть к этим счастливицам. Вместо старых знакомых нашлись десятки новых. В Белоглинский завод приезжали издалека разные проходимцы и искатели приключений, жаждавшие приклеиться всеми правдами и неправдами к брагинской жилке. Так, приезжал какой-то смышленный немец, предлагавший Гордею Евстратычу открыть в Белоглинском заводе заведение искусственных минеральных вод; потом пришел пешком изобретатель новых огнегасителей, суливший золотые горы; затем явилась некоторая дама заграничного типа с проектом открыть ссудную кассу и т. д., и т. д. В брагинской доме от новых знакомых отбоя не было: все спешили принести сюда посильную дань уважения добродетелям редкой семьи. Горные инженеры, техники, доктора, купцы, адвокаты – всех одинаково тянуло к всесильному магниту, не говоря уже о бедности, которая поползла к брагинскому дому со всех углов, снося сюда в одну кучу свои беды, напасти и огорчения... Горькая нужда в тысячах разновидностей точно тронулась и нарочно обнажила свои язвы. Вдовы, сироты, калеки, несчастные всех видов молили о помощи и готовы были по крохам разнести брагинские богатства. Почти каждый день приносили на имя Гордея Евстратыча десятки писем, в которых неизвестные лица, превзошедшие своими несчастьями даже Иова, просили, молили, требовали немедленной помощи. Все это делалось даже страшным, потому что для покрытия вопиющей нужды недоставало бы золотых гор.

– Мамынька, да что же это такое? – спрашивал Гордей Евстратыч, отчаянно борющийся с своей скупостью.

– Ничего, милушка, потерпи, – отвечала Татьяна Власьевна. – В самом-то деле, ведь у нас не золотые горы, – где взять-то для всех?.. По своей силе помогаем, а всех не убоготишь. Царь богаче нас, да и тот всем не поможет...

Брагины теперь походили на тех счастливых, которые среди открытого океана спасались сами на обломках разбитого корабля. Кругом них мелькали в воде утопающие, к ним тянулись руки с мольбой о помощи, их звал последний крик отчаяния; но они думали только о собственном спасении и отталкивали цеплявшиеся за них руки, чтобы не утонуть самим в бездонной глубине. Эта картина скоро притупила их нервы настолько, что они отнеслись даже к смерти благодетеля Маркушки совсем безучастно. Кайло и Пестерь похоронили «шайтана» на свои гроши, а Гордей Евстратыч прогнал их с работы как свидетелей собственной несправедливости, которые мозолили ему глаза.

– Деньги – вода, – объяснял Гордей Евстратыч сыновьям, – пришла – ушла, только ее и видел... А ты копейку недосмотрел, она у тебя рубль из карману долой.

Михалко и Архип были слишком оглушены всем происходившим на их глазах и плохо понимали отца. Они понимали богатство по-своему и потихоньку роптали на старика, который превратился в какого-то Коцея. Нет того чтобы устроить их, как живут другие... Эти другие, то есть сыновья богатых золотопромышленников, о которых молва рассказывала чудеса, очень беспокоили молодых людей.

Работы и заботы всем было по горло в брагинском доме: мужики колотились на прииске, снохи попеременно торговали в лавке, а «сама» с Нюшей с ног сбилась с гостями. А тут еще Дуня затяжелела, за ней глаз был нужен; у Ариши Степушка все прихварывал зимой; Зотушка чаще обыкновенного начал зашибаться водкой. Алена Евстратьевна толкла всю зиму-зимскую. Все нужно было досмотреть, везде поспеть. А тут еще Гордей Евстратыч затевал старый дом перестраивать: крыша деревянная ему помешала – загорелось налаживать непременно железную, потом палубить снаружи да красить внутри. Все это подбивала Гордея Евстратыча милая сестричка Алена Евстратьевна, которая совсем угорела от чужого золота. Татьяна Вла-

сьевна частенько про себя жалела о Колобовых и Савиных. Новые заботы иногда делались ей не под силу, и она нуждалась в постороннем совете, а к кому теперь пойдешь, кроме о. Крискента. Особенно ее беспокоила судьба Нюши. Пазухины пропустили рождественский мясоед и не послали сватов, потому что Пелагея Миневна боялась модницы Алены Евстратьевны; а после Пасхи уже наверно подойдет кого-нибудь. Дело нешуточное, и посудить да порядить об нем не с кем, кроме о. Крискента, который со всеми всегда соглашается. Тоже вот и невестки кручинятся по своим-то, сильно кручинятся, а чем им поможешь? Марфа Петровна прямо говорит, что эти Колобовы да Савины все ногти себе обгрызли от зависти и постоянно судачат на них, то есть на Брагиных.

– Старухи-то еще что говорят, – прибавляла уж от себя словоохотливая Марфа Петровна, – легкое-то богатство, говорят, по воде уплывет... Ей-богу, Татьяна Власьева, не вру! Дивушку я далась, с чего это старухи такую оказию придумали!..

Татьяна Власьева строго подбирала губы и ничего не отвечала. Этот отзыв кровно ее обижал, потому что попадал в самое больное место: она сама иногда боялась своего легкого богатства. А тут еще эти старухи принялись каркать... Именно, зависть их одолела, точно от брагинского несчастья им легче будет. Снохи Татьяны Власьевны по-прежнему дулись одна на другую, и Татьяна Власьева подозревала, что и это недаром делается, а родимые матушки надувают в уши дочкам. Уж это верно, потому где бы молоденьким бабенкам сердце выдержать на целых полгода: не вытерпели бы и помирились. Это все старухи расстраивают бабенок: хотят не мытьем, так катаньем взять. Этот ряд мыслей окончательно утвердился в голове Татьяны Власьевны, и она с особенным вниманием выслушивала сплетни Марфы Петровны.

Только одна Нюша оставалась прежней Нюшей – развей горе веревочкой, – хотя и приставала к бабушке с разговорами о платьях. Несмотря на размолвки отцов, Нюша и Феня остались неразлучны по-прежнему и частили одна к другой, благо свободного времени не занимать стать. Эти молодые особы смотрели на совершившееся около них с своей точки зрения и решительно не понимали поведения стариков, которые расползлись в разные стороны, как окормленные бурой тараканы.

– Просто спятили с ума на старости лет, – говорила откровенная Феня. – Нашли чего делить... Жили-жили, дружили-дружили, а тут вдруг тесно показалось. И мой-то тятенька тоже хорош: все стонал да жаловался на свое старство, а тут поди ты как поднялся. С ними и сама с ума сойдешь, Нюша, только послушай.

– А баушку так и узнать нельзя стало, – жаловалась Нюша. – Все считает что-то да бормочет про себя... Мне даже страшно иногда делается, особенно ночью. Либо молится, либо считает... И скупая какая стала – страсть! Прежде из последнего старух во флигеле кормила, а теперь не знает, как их скачать с рук.

– А Гордей Евстратыч?

– И не говори... К нему и подойти теперь боязно. На снох дуется, Михалку с Архипом заморил на прииске, на Зотушку ворчит, со мной тоже не много разговаривает. Скучища у нас теперь...

– Гостей зато много бывает.

– Да и гости такие, что нам носу нельзя показать, и баушка запирает нас всех на ключ в свою комнату. Вот тебе и гости... Недавно Порфир Порфирыч был с каким-то горным инженером, ну, пили, конечно, а потом как инженер-то принялся по всем комнатам на руках ходить!.. Чистой театр... Ей-богу! Потом какого-то адвоката привозили из городу, тоже Порфир Порфирыч, так тово уж прямо на руках вынесли из повозки, да и после добудиться не могли: так сонного и уволокли опять в повозку.

Все подобные рассуждения доказывали только полную непрактичность болтавших девушек, которые не в состоянии были понять многого, что творилось на их глазах. Они еще не покрылись той житейской ржавчиной, которая живых людей превращает в ходячие трупы.

Зеленая юность тем и счастлива, что не знает, не хочет знать этих разьедающих ум и душу расчетов, которые опутывают остальных людей непроницаемой сетью. Произведенные Маркушкиной жилкой превращения для Нюши и Фени были глупой и смешной загадкой; скрывавшийся под ними старческий эгоизм, корыстные расчеты и расшевеленное самолюбие были далеки от этих юных душ, еще не тронутых житейской горечью.

Ожидаемое сватовство Нюши наконец состоялось. Сватами явились купец Сорокин, дядя Алеша Пазухина по матери, и заводский надзиратель Потемкин. Люди были почтенные, обычливые и заявили в брагинский дом по всем правилам сватовского искусства, памятуя золотое правило, что свату первая чарка и первая палка. Конечно, завели они речь издали, что послал их князь поискать жар-птицы, что ходили они, гуляли по зеленым садам, напали на след и след привел их прямо к брагинскому двору и т. д. Сваты были опытные и наговаривали в голос, только слушай. Даже Татьяна Власьева осталась довольна их разговором и ответила им в том же тоне.

– Какой же вы след видели, добрые люди? – спрашивала Татьяна Власьева.

– А тот след, Татьяна Власьева, – отвечал осанистый старик Сорокин, разглаживая свою русую бороду, – летела жар-птица из зеленого сада да ронила золотое перо около вашего двора – вот тебе и первый след...

Гордей Евстратыч был дома и принял сватов довольно сухо, предоставив Татьяне Власьевне вести все дело. Сваты посидели, поболтали и пошли ни с чем, потому что первых сватов засылают только на разведки, почему их и называют пустосватами. В случае отказа сватам на юге кладут в экипаж тыкву, а на севере привязывают к экипажу шест. Приехать с шестом для свата, конечно, большое бесчестье. Татьяна Власьева не сказала своим сватам ни да ни нет, потому что нужно было еще посоветоваться с отцом. Такой совет состоялся, как и по поводу Маркушкиной жилки, из Гордея Евстратыча, Татьяны Власьевны и Зотушки.

– Ну, так как ты думаешь, Гордей Евстратыч? – спрашивала Татьяна Власьева, когда они чинно уселись по местам.

– Что тут думать-то, мамынька? Конечно, худой жених доброму путь кажет. Спасибо за честь, а только родниться нам с Пазухиными не рука.

– Пошто же не рука, Гордей Евстратыч? Люди хорошие, обстоятельные, и семья – один сын на руках. Да и то сказать, какие женихи по нашим местам; а отдать девку на чужую-то сторону жаль будет. Не ошибиться бы, Гордей Евстратыч. Я давно уже об этом думала...

– А я, мамынька, другое на уме держу! Пазухиных хаять не хочу; а для Нюши почище жениха сыщем. Не оборыши, слава богу, какие и не браковку замуж отдаем... Не по себе дерево Пазухины выбрали, мамынька, прямо сказать.

– Ох, Гордей Евстратыч, Гордей Евстратыч... Всякий лучше выбирает, да только не всякому счастья выпадают. Может, и мы не по себе дерево ищем...

Последняя фраза задела Гордея Евстратыча за живое, и он сердито замолчал. Зотушка, сгорбившись, сидел в уголке и смиренно ждал, когда его спросят. Глазки у него так и светились; очевидно, ему что-то хотелось сказать.

– Ну, а ты, Зотушка, как думаешь? – спросила Татьяна Власьева, чтобы перевести разговор.

– Я, мамынька, думаю заодно с тобой... За большим погонишься, пожалуй, и малого не увидишь.

– Опять дурак!.. – загремел Гордей Евстратыч, накидываясь на брата; он рад был хоть на нем сорвать сердце. – Ни уха ни рыла не понимаешь, а туда же...

– Вы, братец, напрасно такие слова выговариваете, – со смирением возражал Зотушка. – Я дурак про себя, а не про других. Вы вот себя умным считаете, а такую ошибочку делаете...

– Ты меня учить... а?!.. Вон, пьяница и дурак!.. Из дома моего вон!.. И чтобы духу твоего не было!.. Слышал?..

– Гордей Евстратыч... – пробовала было заступиться Татьяна Власьевна за своего любимца. – Милушка, что это ты говоришь?

– Мамынька, оставь нас... Я долго терпел, а больше не могу. Он живет дармоедом, да еще мне же поперечные слова говорит... Я спустил в прошлый раз, а больше не могу.

– И я, братец, тоже больше не могу... – с прежним смирением заявил Зотушка, поднимаясь с места. – Вы думаете, братец, что стали богаты, так вас и лучше нет... Эх, братец, братец! Жили вы раньше, а не корили меня такими словами. Ну, Господь вам судья... Я и так уйду, сам... А только одно еще скажу вам, братец! Не губите вы себя и других через это самое золото!.. Поглядите-ка кругом-то: всех разогнали, ни одного старого знакомого не осталось. Теперь последних Пазухиных лишите.

– Ладно, ладно, разговаривай... Лучше найдем.

– Я ведь не о себе, братец... Польстились вы на золото, – как бы старых пожитков не растерять. И вы, мамынька, тоже... Послушайте меня, дурака.

– Зотушка... Гордей Евстратыч... – плакалась Татьяна Власьевна, бросаясь между братьями. – Побойтесь вы Бога-то!

– Я грешный человек, мамынька, да про себя... – смиренно продолжал Зотушка, помаленьку отступая к дверям. – Других не обижаю; а братец разогнал всех старых знакомых, теперь меня гонит, а будет время – и вас, мамынька, выгонит... Я-то не пропаду: нам доброго не изжить еще, а вот вы-то как?..

Гордей Евстратыч ринулся было на брата с кулаками, но Татьяна Власьевна опять удержала его, и он заскрежетал зубами от бессильного гнева. Когда Зотушка вышел, Татьяна Власьевна тихо заплакала, а Гордей Евстратыч долго бегал по своей горнице и кричал на мать:

– Это все от тебя, мамынька! Да... Разве это порядок в доме... а? Правду сестра-то Алена говорит, что мы дураками живем... Кто здесь хозяин?

– Гордей Евстратыч... да ведь Зотей-то тебе не чужой. Чего с него взять-то, ежели его Господь обидел?..

– Он мне хуже в десять раз чужого, мамынька... Я десять человек чужих буду кормить, так по край мере от них доброе слово услышу. Зотей твой потвор всегда был, ну, ты ему и потачишь...

Эти слова точно укололи старуху. Она поднялась с своего места, выпрямилась во весь рост и грозно проговорила:

– Гордей Евстратыч!.. ты и в самом деле, видно, хочешь меня из родительского гнезда выжить?..

– Ах, мамынька, мамынька!.. – застонал Гордей Евстратыч, хватаясь в отчаянии за голову. – Ведь это что же такое будет... а? Мамынька, прости на скором слове!..

Гордей Евстратыч повалился в ноги к мамыньке, а та рукой наклоняла его голову к самому полу и приговаривала:

– Ниже, ниже, милушка, кланяйся матери-то... Кабы покойник-отец был жив, да он бы тебя за такие скорые речи в живых не оставил. Ну, ин, Бог простит...

Поднявшись с земли, Гордей Евстратыч какими-то дикими глазами посмотрел на мать, а потом, махнув рукой, ничего не сказав, вышел из комнаты. Татьяна Власьевна долго смотрела кругом, точно припоминая, где она; а потом, пошатываясь, побрела на свою половину. В ее ушах еще стояли пророческие слова Зотушки, и она теперь боялась их, припоминая страшное лицо Гордея Евстратыча, когда он поднялся с земли. Маркушкино золото точно распаяло те швы, которыми так крепко была связана брагинская семья: все поползли врозь, то есть пока большаки, а за ними, конечно, поползут и остальные. Сознание происшедшего ошеломило Татьяну Власьевну, как человека, который, неожиданно взглянув вниз, увидел под ногами бездонную пропасть. Еще один шаг – и общая гибель неизбежна.

– Господи помилуй! – крестилась старуха, хватаясь за косяк двери: ее даже качнуло в сторону, как пьяную. – Зотушка... милушка...

Это была тяжелая минута. Татьяна Власьевна на мгновение увидела разверзавшуюся бездну в собственной душе, потому что там происходило такое же разделение и смута, как и между ее детьми. «Аще разделится дом на ся – погибнуть дому сему», – вот те роковые слова, которые жгли ее возбужденный мозг, как ударившая в сухое дерево молния. Она уже не была прежней богомолкой и спасенной душой, а вся преисполнилась земными мыслями, которые теперь начинали давить ее мертвым гнетом. Именно теперь припоминала Татьяна Власьевна и свою скупость, и то, как ей было всего мало, и смерть брошенного на произвол судьбы Маркушки, и ссору с Колобовыми, Савиными и Пятовым. Последним звеном в этой роковой цепи являлся выгнанный на улицу Зотушка, а затем естественный разрыв с Пазухиными, которые, конечно, будут обижены неудачным своим сватовством. Чем дальше думала Татьяна Власьевна, тем делалось ей тяжелее, точно ее душу охватывала какая-то крошечная тьма. Она прибегла к своему единственному средству утешения, то есть к молитве, и простояла на поклонах до третьих петухов. Нюше тоже не спалось. Она знала, зачем приезжали Сорокин с Потемкиным, но боялась спросить бабушку о результатах их совещания. Зачем выгнал отец Зотушку? зачем он кричал на бабушку? зачем бабушка так усердно откладывает поклоны перед своим иконостасом? Нюшино сердце чуяло что-то недоброе, и она потихоньку всплакнула в свою подушку.

– Баушка... а баушка, – нерешительно спросила она молившуюся старуху.

– Ты разве не спишь, милушка? – удивилась Татьяна Власьевна.

– Нет, баушка...

Старуха подошла к Нюше, села на ее постель и долго гладила своей морщинистой рукой, с тонкой старой кожей, ее темноволосую красивую голову, пытливо глядевшую на нее темными блестящими глазами. Эта немая сцена сказала обеим женщинам больше слов; они на время слились в одну мысль, в одно желание и так же молча встали на молитву. Татьяна Власьевна раскрыла книгу, зажгла несколько новых свеч пред образами и мерным ровным голосом начала говорить канун. Нюша стояла рядом с ней и со слезами молилась, отбивая по лестовке бесконечные поклоны. Минуту назад им было так тяжело, а теперь они, умиленные, растроганные, далеко оставили там, где-то внизу, все беды-напасты, точно их окрылила какая-то высшая сила.

– Баушка, как же... что давеча-то тятенька сказал? – спрашивала Нюша, когда молитва была кончена.

– Ох, милушка, милушка... Не судьба тебе, милушка, видно, за Алешей Пазухиным быть. Отец и слышать не хочет... Молись Богу, голубушка.

Нюша уткнулась головой в подушку и горько зарыдала. Это было первое горе, которое разразилось над ее головой.

Зотушка, когда вышел из братцевой горницы, побрел к себе в флигелек, собрал маленькую котомочку, положил в нее медный складень – матушкино благословение – и с этой ношей, помолвившись в последний раз в батюшкином доме, вышел на улицу. Дело было под вечер. Навстречу Зотушке попало несколько знакомых мастеровых, потом о. Крискент, отправлявшийся на своей пегой лошадке давать молитву младенцу.

– Куда, Зотей Евстратыч? – окликнул его о. Крискент. – Садись, подвезу.

– Спасибо на добром слове, отец Крискент... А я иду куда глаза глядят. Братец меня выгнал из дому.

Отец Крискент так был поражен этим, что даже не мог сразу подыскать подходящего к случаю словоназидания.

– Как же ты думаешь, Зотей Евстратыч, устроиться?

– А что мне думать, отец Крискент? Свет не клином сошелся... Нам добра не изжить, а уголок-то и мне найдется. Мы, как соловецкие угодники, в немощах силу обретаем...

– А ведь это точно... да! – согласился о. Крискент и, приподняв брови, глубокомысленно прибавил: – Может, это даже тебе на пользу Господь посылает испытание, Зотей Евстратыч... Судьбы Божии неисповедимы.

Сидя в своем теплом домике, о. Крискент всегда любил распространяться на тему о благодати Провидения и о промысле Божиим, тем более что ему, то есть о. Крискенту, было всегда так тепло и уютно и он глубоко верил в благодать и Промысел. И теперь, глядя на смиренную фигуру Зотушки, он испытывал настоящее умиление и даже прослезился, благословляя Зотушку как «взыскующего града». Простившись с о. Крискентом, Зотушка тихонько побрел вперед, не зная хорошенько, к кому ему сначала зайти – к Колобовым или к Савиным. У Пятовых, Шабалиных ему тоже были бы рады, потому что Зотушка был великий «источник на всякие художества»: он и пряники стряпать, и шубы шить, и птах ребятишкам ловить в тайники да в западни, и по упокойничке канун говорить, и сказку сказать... А главное, что носил с собою Зотушка, как величайшее сокровище, – это была полная незлобивость и какое-то просветленное смирение, которым он так резко отличался от всех других мирских людей. Именно эта душевная особенность Зотушки делала его своим человеком везде, точно он вносил с собой струю «мирови мира», которая заразительно действовала на всех, облегчая одолевавшие их злобы.

– Ежели пойти к Савиным или к Колобовым – нехорошо будет, – рассуждал про себя Зотушка. – Сейчас подумают, что я пришел к ним жаловаться на брата Гордея Евстратыча, чтобы ему досадить. У Шабалиных, ежели наткнусь на Вукола Логиныча, – от винного беса не уйти... Пойду-ка я к Нилу Поликарпычу, у него и работишка для меня найдется.

Зотушка так и сделал. Прошел рынок, обошел фабрику и тихим незлобивым шагом направился к высокому господскому дому, откуда ему навстречу, виляя хвостом, выбежал мохнатый пестрый Султан, совсем заживевший на господских хлебах, так что из пяти чувств сохранил только зрение и вкус. Обойдя «паратнее крыльцо», Зотушка через кухню пробрался на половину к барышне Фене и предстал перед ней, как лист перед травой.

– А я к вам, Федосья Ниловна, – заговорил Зотушка. – Нил-то Поликарпыч дома? Нету?.. Ну, еще успеем увидаться, моя касаточка. Ах, я и не успел тебе захватить поклончика от Нюши...

Через четверть часа Феня уже знала всю подноготную и в порыве чувства даже расцеловала божьего человека. «Источник» переминался с ноги на ногу, моргал своими глазами и с блаженной улыбкой говорил:

– Касаточка ты моя... Сейчас говорил отцу Крискенту: «Нам, отец Крискент, доброго не изжить». Ты что это орудуешь, Федосья Ниловна?

– Да так... Крою белье разное.

В комнате Фени действительно весь пол был обложен полосами разного полотна, а она сама ползала по нему на коленях с выкройкой в одной руке и с ножницами в другой. Зотушка полюбовался на молодую хозяйку, положил свою котомку в уголок, снял сапоги и тоже прилег к разложенному полотну.

– А ты меня, касаточка, спроси, как все это дело устроить... Когда Савины дочь выдавали, так я все приданое своими руками кроил невесте. Уж извини, касаточка: и рубашки, и кофточки – все кроил... И шить я прежде источник был; не знаю, как нынче.

– Я тебя на машинке научу шить, Зотушка, – обрадовалась Феня. – Сначала только чаю напьешься...

Через час, когда чай были кончены и Зотушка далее пропустил для храбрости маленькую, он ползал по полотну вместе с барышней Феней, с мотком ниток на шее и с выкройкой в зубах. Когда засветили огонь, Зотушка сидел посреди пола с работой в руках и тихо мурлыкал свой «стих».

И-идет ста-арец по-о-о доро-оге-е...

XIII

Лето для брагинской семьи промелькнуло как золотой сон. Смородинка работала превосходно; в неделю иногда намывали до шести фунтов. Паровая машина была поставлена, но одной было мало: вода одолевала, нужно было к осени вторую. В конце каждого месяца Гордей Евстратыч исправно отправлялся в город Екатеринбург, где скоро сошелся с другими золотопромышленниками, с богатыми комиссионерами, скупавшими ассигновки у мелких золотопромышленников, и с разными другими дельцами и темными личностями, ютившимися около золотого козла. Народ был юркий, проворный, и Гордей Евстратыч окончательно убедился, что жил до сих пор в своем Белоглинском заводе дурак дураком.

– Надо, брат, эту темноту-то свою белоглинскую снимать с себя, – говорил Вукол Шабалин, хлопая Гордея Евстратыча по плечу. – По-настоящему надо жить, как прочие живут... Первое, одеться надо как следует. Я тебе порекомендую своего портного в Петербурге... Потом надо компанию водить настоящую, а не с какими-нибудь Пазухиными да Колпаковыми. Тут, брат, всему выучат.

– А я с белоглинскими-то тово, Вукол Логиныч...

– Знаю, знаю, Варя рассказывала... И хорошо делаешь, потому нам себя тоже надо строго соблюдать, чтобы не совестно было перед настоящими людьми.

Своего единоверческого платья Гордей Евстратыч не переменял, но компанию водить с настоящими людьми не отказался, а даже был очень доволен поближе сойтись с ними. У этой настоящей компании были облюбованы свои теплые местечки, где и катилось разливное море: в одном месте ели, в другом играли в карты, в третьем слушали арфисток и везде пили и пили без конца. В карты Гордей Евстратыч не играл, а пил вместе с другими, потому что нельзя же в самом-то деле такую компанию своим упрямством расстраивать... Ведь люди-то, люди-то какие: все на подбор, особенно адвокаты и разные инженеры. Наговорят с три короба, а в руки взять нечего... А впрочем, народ обходительный, и даже одетыми в единоверческое платье не гнушаются, что очень льстило Гордею Евстратычу, сильно стеснявшемуся на первых порах своим длиннополым кафтаном и русской рубашкой.

– Мы здесь живем как братья, Гордей Евстратыч, – говорил Брагину юркий адвокат из восточных человек. – Все равно как одна семья.

Действительно, все эти невяньские, и кушвинские, и миасские, и троицкие золотопромышленники, попадая в Екатеринбург, сливались в одну золотую массу, которую адвокаты и другие дельцы обхаживали особенно усердно. Особняком держались от этой компании только самые крупные тузы, которые проживали по столицам, являясь на Урал только на несколько дней. Гордей Евстратыч присматривался, прислушивался и сам старался быть как все, а то один Шабалин засрамит. Это легкое привольное житье затягивало незаметно, и Гордей Евстратыч ездил в город с особенным удовольствием, хотя мог бы обойтись без таких поездок, – стоило только заручиться надежным комиссионером, как у других золотопромышленников. Брагину хотелось прежде всего самому немного отшлифоваться в настоящей компании.

Приезжая из города домой, Брагин всем привозил подарки, особенно Нюше, которая ходила все лето как в воду опущенная. Девушка тосковала об Алешке Пазухине; отец это видел и старался утешить ее по-своему.

– Ну, Нюша, будет дурить, – говорил ей Гордей Евстратыч под веселую руку. – Хочу тебя уважить: как поеду в город – заказывай себе шелковое платье с хвостом... Как дамы носят.

– Не надо, тятенька...

– Вздор мелешь!.. Какое хочешь: зеленое или красное?

– Не надо, тятенька...

– И выходишь дура, если перечишь отцу. Я к тебе с добром, а ты ко мне... Погоди, вот в Нижний с Вуколом поедем, такой тебе оттуда гостинец привезу, что глаза у всех разбегутся.

Эта замена Алешки Пазухина шелковым платьем не удалась, и Нюша по-прежнему тосковала и плакала. Она заметно похудела и сделалась еще краше, хотя прежнего смеха и болтовни не было и в помине. Впрочем, иногда, когда приезжала Феня, Нюша оживлялась и начинала дурачиться и хохотать, но под этим напускным весельем стояли те же слезы. Даже сорвиголовушка Феня не могла развеселить Нюши и часто принималась бранить:

– Дурища ты, Нютка... Ей-богу!.. Вот еще моду затеяла... Эка беда, подумаешь, не стало ихнего брата, женихов-то... И по любви замуж выходят, да горе мыкают... Ей-богу, я этому Алешке в затылок накладу.

Чтобы окончательно вылечить свою подругу, Феня однажды рассказала ей целую историю о том, как Алешка тарашил глаза на дочь заводского бухгалтера, и ссылалась на десятки свидетелей. Но Нюша только улыбалась печальной улыбкой и недоверчиво покачивала головой. Теперь Феня была желанной гостьей в брагинском доме, и Татьяна Власьевна сильно ухаживала за ней, тем более что Зотушка все лето прожил в господском доме под крылышком у Федосьи Ниловны.

– Гляжу я на тебя и ума не могу приложить: в кого ты издалась такая удалая, – говорила иногда Татьяна Власьевна, любуясь красавицей Феней. – Уж можно сказать, что во всем не как наша Анна Гордеевна.

– А я так ума не приложу, что с вами со всеми делается, – отвечала бойкая на язык Феня. – Взять тебя, баушка Татьяна, так и сказать-то ровно неловко.

– А что, милушка?

– Да так... На себя не походишь, баушка. Скупая стала да привередливая.

– Ох, нельзя, милушка, нельзя, голубушка... Вон у нас какой отец-то строгий да расчетливый. С меня все взыскивает, чуть что.

– Вот тоже ребят на прииске заморили... Снохи скучают, поди, об них неделю-то...

– Ну, это опять другой разговор, Фенюшка. Нельзя по нашему делу на чужих людей полагаться, а на прииске глаз да глаз нужен.

– Ежели бы я вашей снохой была, я ушла бы на второй месяц...

– Пш-ш... Что ты, милушка, какие ты слова разговариваешь... Ежели все бабы от мужей побегут, тогда уж распоследнее дело... Мы невесток, слава богу, не обижаем, как сыр в масле катаются.

– Масло-то ваше больно горькое, баушка Татьяна!.. Вон Нютка, лица на ней нет... Мы с Зотушкой все ее жалеем.

Татьяна Власьевна только тяжело вздыхала и с соболезованием покачивала головой.

Сыновья Брагина выезжали домой только по воскресеньям и праздникам, когда работа на жилке останавливалась. Сначала они скучали своей новой обстановкой, а потом мало-помалу привыкли к ней и даже совсем в нее втянулись. Особенно летом на приисках было весело, потому что работа кипела на открытом воздухе и походила на какой-то праздник или помочь. Притом на Смородинку постоянно заворачивали разные гости: то Порфир Порфирыч с Плинтусовым, то Шабалин с Липачком, то кто-нибудь из знакомых золотопромышленников. Конечно, пребывание таких гостей на прииске ознаменовывалось прежде всего кромешным пьянством, а затем чисто приисковыми удовольствиями. Для Порфира Порфирыча, например, постоянно устраивался около конторы хоровод из приисковых красавиц, недостатка в которых не было и в числе которых фигурировали Окся и Лапуха с Домашкой. Бабы «играли песни», а Порфир Порфирыч тешился тем, что бросал в хоровод платки и пряники. Это было его любимым удовольствием, и, нагрузившись, он любил даже поплясать с бабами, особенно когда был налицо мировой Липачек. Гордей Евстратыч смотрел на эти праздники сквозь пальцы, потому что,

раз, – нельзя же перечить такому начальству, как Порфир Порфирыч, Плинтусов и Липачек, а затем – и потому, что как-то неловко было отставать от других.

– На всех приисках одна музыка-то... – хохотал пьяный Шабалин, поучая молодых Брагиных. – А вы смотрите на нас, стариков, да и набирайтесь уму-разуму. Нам у золота да не пожить – грех будет... Так, Архип? Чего красной девкой глядишь?.. Пстой, вот я тебе покажу, где раки зимуют. А еще женатый человек... Ха-ха! Отец не пускает к Дуне, так мы десять их найдем. А ты, Михалко?.. Да вот что, братцы, что вы ко мне в Белоглинском не заглянете?.. С Варей вас познакомлю, так она вас арифметике выучит.

Эти уроки пошли молодым Брагиным «в наук». Михалко потихоньку начал попивать вино с разными приисковыми служащими, конечно в хорошей компании и потихоньку от тятеньки, а Архип начал пропадать по ночам. Братья знали художества друг друга и покрывали один другого перед грозным тятенькой, который ничего не подозревал, слишком занятый своими собственными соображениями. Правда, Татьяна Власьевна провела стороной о похождениях внуков, но прямо все объяснить отцу побоялась.

– Ты бы присматривал за ребятами-то, – несколько раз говорила она Гордею Евстратычу, когда тот отправлялся на прииск. – У вас там на жилке всякого народу прбпасть; пожалуй, научат уму-разуму. Ребята еще молодые, долго ли свихнуться.

– На людях живем, мамынька, – успокаивал Гордей Евстратыч, – ежели бы что – слухом земля полнится. Хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит.

– А ты, милушка, все-таки посматривай...

– Ладно, ладно... Ты вот за Ньюшей-то смотри, чего-то больно она у тебя хмурится, да и за невестками тоже. Мужик если и согрешит, так грех на улице оставит, а баба все домой принесет. На той неделе мне сказывали, что Володька Пятов повадился в нашу лавку ходить, когда Ариша торгует... Может, зря болтают только, – бабенки молоденькие. А я за ребятами в два глаза смотрю, они у меня и воды не замутят.

– Вот гости-то ваши меня беспокоят, милушка... Ведь вон какие статуи, один другого лучше. Сумлеваюсь я насчет их... Хоть кого на грех наведут.

Когда Гордей Евстратыч уезжал с золотом в город, брагинским ребятам на прииске была полная воля. Нашлись такие люди, которые научили, как нужно свою линию выводить, то есть откладывать там и сям денежки про черный день. Расчеты по прииску были большие, и достать деньги этим путем ничего не стоило, тем более что все дело велось семейным образом, с полным доверием, так что и подсчитать не было никакой возможности. Гордей Евстратыч боялся чужих людей как огня и все старался сделать своими руками. Володька Пятов, прокутившись до нитки где-то на приисках, явился с повинной к отцу и теперь проживал в Белоглинском. При Гордее Евстратыче он, конечно, не смел и носу показать на Смородинку, но без него он являлся сюда, как домой, и быстро просветил брагинских ребят, как следует жить по-настоящему.

– Чего вам смотреть на старика-то, – говорил Пятов своим новым приятелям, – он в город закатится – там твори чего хочешь, а вы здесь киснете на прииске, как старые девки... Я вам такую про него штуку скажу, что только ахнете: любовницу себе завел... Вот сейчас провалиться – правда!.. Мне Варька шабалинская сама сказывала. Я ведь к ней постоянно хожу, когда Вукола дома нет...

Ребята разинули рот от удивления и долго не могли поверить Володьке Пятову, который врал за четверых.

– Эх вы, телята!.. – хохотал Володька. – Да где у вас глаза-то? Что за беда, если старик и потешится немного... Человек еще в поре. Не такие старики грешат: седина в бороду, а бес в ребро.

– Да ты врешь, Володька... Смотри!..

– Чего смотри?.. Я знаю, как и зовут любовницу Гордея Евстратыча. Она из немок, из настоящих, а называется Сашей. В арфистках раньше была, потом с Шабалиным жила до

Варьки. Шабалин ее и сосватал тятеньке-то вашему... Мне сама Варька сказывала – потому Шабалин пьяный все ей рассказывает.

Володька Пятов, коренастый кудрявый парень, несмотря на кутежи и запретные удовольствия, был кровь с молоком, недаром родным братцем Фени считался. Такой же русый волос, такой же румянец, такие же светлые ласковые глаза, только ума у Володьки Пятова не было ни на грош: весь промотан в городе. Щеголял он всегда в модных визитках и крахмальных рубашках, носил пуховую черную шляпу и постоянно хвастался золотыми кольцами. У женщин известного разбора Володька Пятов пользовался большим успехом и от нечего делать приволакивался за Аришей Брагиной, о чем, конечно, не рассказывал Михалке.

– Погодите, батька смотрит-смотрит да еще жениться вздумает, – посмеивался Володька Пятов. – Что, испугались? То-то... Смотрите в оба, а то как раз наследников новых наживете.

Приисковые рабочие очень любили Володьку Пятова, потому что он последнюю копейку умел поставить ребром и обходился со всеми запанибрата. Только пьяный он начинал крепко безобразничать и успокаивался не иначе как связанный веревками по рукам и ногам. Михалко и Архип завидовали пиджакам Володьки, его прокрахмаленным сорочкам и особенно его свободному разговору и смелости, с какой он держал себя везде. Особенно Архип увлекался им и старался во всем копировать своего приятеля, даже в походе.

Слухи о баловстве брагинских ребят, конечно, скоро разошлись везде и разными досужими людьми были переданы, между прочим, Колобовым и Савиным, с приличными добавлениями и прикрасами. Конечно, обе семьи поднялись на ноги, особенно старухи, и пошла писать история. Общая беда теперь помирила их. Агнея Герасимовна разливалась рекой, оплакивая свою Аришу, как мертвую; Матрена Ильинична тоже крепко убивалась о своей Дуне, которая вдобавок уже давно ходила тяжелая и была совсем «на тех порах», так что ей и сказать ничего было нельзя. В лавке сидела теперь большею частью одна Ариша, которую иногда сменяла только Нюша; дело было летнее, тихое в торговле, и Ариша справлялась со всей торговлей. Она иногда брала с собой в лавку своего Степушку, и время летело незаметно, как за всякой работой. Волокитство Володьки Пятова сначала напугало Аришу, а когда он пропал из Белоглинского завода – молодая женщина совсем успокоилась. Вот именно в этот момент и зачастила в лавку сама Агнея Герасимовна, по своей доброте не умевшая даже прикрыться каким-нибудь заделем.

– Как у вас там, дома-то? – спрашивала старушка, жалостливо глядя на свою ненаглядную доченьку.

– Чтой-то, маменька, как ты и спрашиваешь... – удивлялась Ариша.

– Да я так, Ариша, к слову пришлось... Муж-то как у тебя?

– Муж... да чего ему делается, маменька?... Будто редко теперь дома бывает, а так ничего.

– Ну а Татьяна Власьевна?

– И Татьяна Власьевна ничего...

Эти разговоры с маменькой кончились тем, что ничего не подозревавшая Ариша наконец заплакала горькими слезами, почуя что-то недоброе. Агнея Герасимовна тоже досыта наревелась с ней, хотя и догадалась бо́льшую половину утаить от дочери.

– Только, ради истинного Христа, Аришенька, ничего не говори Дуняше, – упрашивала Агнея Герасимовна, утирая лицо платочком, – бабочка на сносях, пожалуй, еще попритчится что... Мы с Матреной Ильиничной досыта наревелись об вас. Может, и зря люди болтают, а все страшно как-то... Ты, Аришенька, не сумлевайся очень-то: как-нибудь про себя износим. Главное – не доведи до поры до времени до большаков-то, тебе же и достанется.

Ариша ходила всю неделю с опухшими красными глазами, а когда в субботу вечером с прииска приехал Михалко – она лежала в своей каморке совсем больная. Татьяна Власьевна видела, что что-то неладное творится в доме, пробовала спрашивать Аришу, но та ничего не сказала, а допытываться настрою Татьяна Власьевна не хотела. «Может, и в самом деле нездо-

ровится», – решила про себя старуха и напоила Аришу на ночь мятой. Глядя на Аришу, закручинилась и Дуня. А ночью Татьяна Власьевна слышала в каморке какой-то подозрительный шум, а затем плач: это была первая семейная сцена между молодыми. Ариша сначала молчала, а потом начала упрекать мужа; Михалко оправдывался, ворчал и кончил тем, что поколотил жену. Ариша, в одной рубашке, простоволосая, с плачем ворвалась в комнату Татьяны Власьевны и подняла весь дом на ноги. Старухе стоило больших трудов успокоить невестку и уговорить, чтобы она не доводила дело до Гордея Евстратыча, который, на счастье, не был в эту ночь дома.

Утром завернула к Брагиным Марфа Петровна, и все дело объяснилось. Хотя Пазухины были и не в ладах с Брагиными из-за своего неудачного сватовства, но Марфа Петровна потихоньку забегала покалякать к Татьяне Власьевне. Через пять минут старуха узнала наконец, что такое сделалось с Аришей и откуда дул ветер. Марфа Петровна в таком виде рассказала все, что даже Татьяна Власьевна озлобилась на свою родню.

– И ведь что говорят-то, – задыхаясь, рассказывала Марфа Петровна. – Михалку пропойцом называют, а про Архипа... ну, одним словом, славят про него, что он путается с приисковыми девками. И шлюху-то его называют... Ах, дай бог память... Домашкой ее зовут, из полдневских она. Так и девчонка-то бросовая, разговору не стоит, а старухи-то тростят страсть как... Будто Архип-то и ночей не спит в казарме, когда Гордея Евстратыча не бывает в казарме. Ведь чего только и наговорят, Татьяна Власьевна... Статошное ли дело, чтобы от такой молодой да красивой жены, как ваша Дуня, да муж побежал к какой-то шлюхе Домашке. Кто этому поверит? Тоже вот про Володьку Пятова разное болтают. Да уж я вам всего-то рассказывать не стану, Татьяна Власьевна; пустяки это все, я так думаю.

– Нет уж, Марфа Петровна, начала – так все выкладывай, – настаивала Татьяна Власьевна, почерневшая от горя. – Мы тут сидим в своих четырех стенах и ничем-ничего не знаем, что люди-то добрые про нас говорят. Тоже ведь не чужие нам будут – взять хоть Агнею Герасимовну... Немножко будто мы разошлись с ними, только это особь статья.

– Вот Агнея-то Герасимова все и ходила в лавку к Арише, да и надувала ей в уши... Да. Только всего она Арише не сказала, чего промежду себя дома-то разговаривают. О чем бишь я хотела вам рассказывать-то?..

– О Володьке Пятове...

– Да-да... так. Третьего дня вечером завернула я к Савиным, а там Агнея Герасимовна сидит. Меня чай оставили пить. Ну, старухи-то и пошли костить про Володьку, как он ваших ребят сомущает на всякие художества: Михалку – насчет водки и к картам приучает, а Архипа – по женской части... А потом про Шабалина начали говорить да про Порфира Порфирыча, какие они поступки поступают на Смородинке: дым коромыслом... А ребята-то молодые – им это и повадно. Да еще Шабалин-то учит ваших ребят всяким пакостям... А Володька Пятов опять затащил Архипа как-то к Варьке шабалинской. Ей-богу, не вру... Ну а Варька-то заодно с Володькой обманывает Вукола-то Логиныча. А как вы думаете: на вино, да на карты, да на разные поступки с этими шлюхами ведь деньги надо?..

– Вот я это-то и думаю, Марфа Петровна: ведь у Михалки с Архипом и денег сроду своих не бывало, отец их не потачит деньгами-то. А что приисковые-то расчеты, так ведь сам отец их подсчитывает, через его руки всякая копеечка проходит.

– Позвольте, Татьяна Власьевна... Я то же старухам говорю, а они на Володьку на Пятова все валят: он и с ключом-то своим в чужой сундук сходит, и отца поучит обманывать в расчетах, и на всякие художества подымается из-за этих самых денег. Он отца родного сколько раз обкрадывал, а чужих людей подавно. Агнея-то Герасимовна как заговорит про Володьку, так у ней глаза и заходят, потому как его она и считает заводчиком всяких пакостей. Я про себя, Татьяна Власьевна, так думаю, голубушка... Чужие-то дела куды ловко судить: и то не так, и это не так, а к своим ума не приложишь... Теперь взять хоть Агнею Герасимовну или

Матрену Ильиничну: старухи, кажется, степенные, умницами слывут, а тут давай-ка мутить на весь Белоглинский завод. По-моему, им бы молчать да молчать, а не то что самим рассказывать... Так ведь, Татьяна Власьевна?

– Истинная правда, Марфа Петровна. Вот этого и я в разум никак не возьму! Зачем чужим-то людям про свою беду рассказывать до время? А тут еще в своей-то семье расстраивают.

– Вот, вот, Татьяна Власьевна... Вместо того чтобы прийти к вам или вас к себе позвать да все и обсудить заодно, они все стороной ладят обойти, да еще невесток-то ваших расстраивают. А вы то подумайте, разве наши-то ребята бросовые какие? Ежели бы и в самом деле грех какой вышел, ну по глупости там или по малодушию, так Агнее-то Герасимовне с Матреной Ильиничной не кричать бы на весь Белоглинский завод, а покрыть бы слухи да с вами бы беду и поправить.

– Так, так, Марфа Петровна. Справедливые слова ты говоришь... Будь бы еще чужие – ну, на всякий роток не накинешь платок, а то ведь свои – вот что обидно.

– По-моему, Татьяна Власьевна, всему этому делу настоящие заводчики эти самые Савины и Колобовы и есть... Ей-богу!..

– Да ведь свои они нам, как ни поверни, Марфа Петровна... Что им за нужда на своих-то детей беду накликасть?

– Ах, Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна... А если они все в ослеплении свои поступки поступают? Можно сказать, из зависти к вашему богатству все и дело-то вышло... Вот и рады случаю придраться к вам!

Результатом таких разговоров было то, что Татьяна Власьевна совсем отшатнулась от своей родни и стала даже защищать внуков, которых «обнесли напраслиной». Она теперь взглянула на дело именно с своей личной точки зрения, как обиженная сторона, и горой встала за фамильную честь. Так как скрывать долее было нельзя от Гордея Евстратыча, то Татьяна Власьевна и рассказала ему все дело, как понимала его сама. Против ожидания, Гордей Евстратыч не вспылил даже, а отнесся к рассказу жаловавшейся мамыньки почти безучастно и только прибавил:

– Ну, пусть их, мамынька... Почешут-почешут языки, да и отстанут. Всего не переслушаешь. Занялся бы я этими вашими сплетками, да, вишь, мне не до них: в Нижний собираться пора.

– А с кем ты поедешь-то, милушка?

– Не знаю еще... Может, Вукол поедет, так с ним угадаю.

– Ох, милушка, милушка... Вукол-то этот... сумлеваюсь я...

– Пустое, мамынька... Тоже, мамынька, и про Вукола много зря болтают, как и про нас с тобой. Человек как человек.

– Ну как знаешь, милушка... А только ты поговорил бы с Аришей-то, больно она убивается. Расстраивают ее, ну, она и скружилась...

– Хорошо, мамынька, поговорю...

Гордей Евстратыч всегда очень любил свою старшую невестку, для которой у него никогда и ни в чем не было отказа. Только в последний год он как будто переменялся к ней, так по крайней мере думала сама Ариша, особенно после случая с серьгами и брошкой. Ей казалось, что Гордей Евстратыч все сердится за что-то на нее, не шутит, как бывало прежде, и часто придирается, особенно по торговле. Придет в лавку и начнет пропекать, то есть не то чтобы он бранился или кричал, а просто по всему было видно, что он недоволен. Ариша даже стала немного бояться своего свекра, особенно когда он был навеселе и делался такой румяный – даром что старик. И глаза у него как-то особенно блестели, и Арише казалось, что Гордей Евстратыч все смотрит на нее. Раза два в таком виде он заходил к ней в лавку и совсем ее напугал: смеется как-то так нехорошо и говорит что-то такое совсем несообразное. Потом

Ариша заметила, что Гордей Евстратыч никогда не заходит в лавку, когда там сидит Дуня, и что вообще дома, при других, он держит себя с ней совсем иначе, чем с глазу на глаз. Поэтому, когда Татьяна Власьева послала Аришу на другой день после разговора с сыном в его горницу, та из лица выступила: Гордей Евстратыч только что приехал от Шабалина и был особенно розовый сегодня. Дуня лежала больная в своей каморке, Нюша была в лавке, – вообще дом был почти совсем пустой.

– Ступай, ступай, с тобой поговорить хочет отец-то... – посылала Татьяна Власьева невестку. – Да говори прямо, все, что сама знаешь, как родимому отцу.

Ариша набросила свой ситцевый сарафан, накинула шаль на голову и со страхом переступила порог горницы Гордея Евстратыча. В своем смущении, с тревожно смотревшими большими глазами, она особенно была хороша сегодня. Высокий рост и красивое здоровое сложение делали ее настоящей красавицей. Гордей Евстратыч ждал ее, ходя по комнате с заложенными за спину руками.

– Вы, тятенька, меня звали на что-то...

– Да, звал, Ариша. Садись вот сюда, потолкуем ладком... Что больно приуничилась?.. Не бойсь, не укушу. Для вас же стараюсь...

Гордей Евстратыч придвинул свой стул к стулу Ариши и совсем близко наклонился к ней, так что на нее пахнуло разившим от него вином; она хотела немного отодвинуться от свекра, но побоялась и только опустила вспыхнувшее лицо. Гордей Евстратыч тоже заметно покраснел, а глаза у него сегодня совсем были подернуты маслом.

– Ну, Ариша, так вот в чем дело-то, – заговорил Гордей Евстратыч, тяжело переводя дух. – Мамынька мне все рассказала, что у нас делается в доме. Ежели бы раньше не таили ничего, тогда бы ничего и не было... Так ведь? Вот я с тобой и хочу поговорить, потому как я тебя всегда любил... Да-а. Одно тебе скажу: никого ты не слушай, окромя меня, и все будет лучше писаного. А что там про мужа болтают – все это вздор... Напрасно только расстраивают.

– Я ведь, тятенька, ничего...

– Хорошо... Ну, что муж тебя опростоволосил, так это опять – на всякий чох не наздравствуешься... Ты бы мне обсказала все, так Михалко-то пикнуть бы не смел... Ты всегда мне говори все... Вот я в Нижний поеду и привезу тебе оттуда такой гостинец... Будешь меня слушаться?

– Я, тятенька, из вашей воли никогда не выходила...

– И отлично... А вперед еще больше старайся. На мужа-то не больно смотри: щенок еще он... Ну, ступай с Богом...

Ариша, по заведенному обычаю, в благодарность за науку, повалилась в ноги тятеньке, а Гордей Евстратыч сам поднял ее, обнял и как-то особенно крепко поцеловал прямо в губы, так что Ариша заалелась вся как маков цвет и даже закрыла лицо рукой.

– Видно, горько старого целовать? – спрашивал Гордей Евстратыч, отнимая руку Ариши. – Ты ведь у меня умница... Только ничего никому не рассказывай – поняла? Всем по гостинцу привезу, а тебе наособицу... А ежели муж будет обижать, ты мне скажи только слово...

– Нет, мне, как другим, тятенька... Я не хочу наособицу...

– Ах ты, глупая... А если я хочу? Понимаешь: я этого хочу!

«Видно, отец-то поначалил крепко...» – подумала Татьяна Власьева, взглянув на красное лицо выходявшей из горницы Ариши.

Через неделю Гордей Евстратыч укатил вместе с Шабалиным на ярмарку в Нижний.

XIV

Из Нижнего Гордей Евстратыч действительно привез всем по гостинцу: бабушке – парчи на сарафан и настоящего золотого позумента, сыновьям – разного платья и невесткам – тоже. Самые лучшие гостинцы достались Нюше и Арише; первой – бархатная шубка на собольем меху, а второй – весь золотой «прибор», то есть серьги, брошь и браслет. Такая щедрость удивила Татьяну Власьевну, так что она заметила Гордею Евстратычу:

– Как я погляжу, милушка, балуешь ты Аришу...

– А ежели я так хочу, мамынька? – упрямо заявил Гордей Евстратыч. – Может, она мне лучше всех угодила, ну и дарю...

– Дуне опять завидно, милушка...

– Ну, Дуня пусть еще постарается в свою долю, тогда и ее пожалуем.

– Ох, только бы не избаловать, милушка. Дело-то еще больно молодое, хоть и Аришу взять... Возмечтает, пожалуй, и старших не будет уважать. Нынче вон какой безголовый народ пошел, не к нам будь сказано! А ты, милушка, никак бороду-то себе подкорнал на ярмарке?

– Немножко, мамынька... Нельзя же супротив других чертом ходить. Лучше нас есть, мамынька, да тоже бороды себе подправляют, ну и я маненько подправил, так, самую малость...

Последнее обстоятельство очень конфузило Гордея Евстратыча перед домашними, хотя он и бодрился. Вообще Татьяна Власьевна скоро заметила, что милушка, кроме подстриженной бороды, привез из ярмарки много других новостей и точно сделался совсем другой человек, как она к нему ни приглядывалась. Больше всего старухе не нравилось в сыне то, что он начал «форсить» в том же роде, как форсил Вукол Шабалин. И платья себе навез из ярманки форсистого, и сапоги лаковые со скрипом, и маслом деревянным перестал мазаться – вообще крепко начал молодиться, и даже точно лицо у него совсем другое сделалось. Впрочем, новое платье Гордей Евстратыч долго не решался надеть, даже очень сумлевался, пока по первопутку не съездил в город сдавать золото, откуда приехал уже совсем форсуном: в длинном сюртуке, в крахмальной сорочке, брюки навывпуск – одним словом, «оделся патретом», как говорил Зотушка. «Темноту-то нашу белоглинскую пора, мамынька, нам оставлять, – коротко объяснил Гордей Евстратыч собственное превращение, – а то в добрые люди нос показать совестно...» Но провести разными словами Татьяну Власьевну было довольно трудно, она видела, что тут что-то кроется, и притом кроется очень определенное: с женским инстинктом старуха почувяла чье-то невидимое женское влияние и не ошиблась. Завернувшая на секундочку Марфа Петровна очень подробно и красноречиво отрапортовала, зачем повадился Гордей Евстратыч по городам ездить: немку себе завел... Она с ним и в Нижний ездила, она и передела его, и бороду подстричь заставила – одним словом, завертела мужика. А эту немку подсунула Гордею Евстратычу шабалинская Варя, – это уж ее рук дело.

– И денег он на эту немку травит, страсть... Квартиру ей завел в городе и всякое прочее, – объясняла Марфа Петровна. – У Колобовых да у Савиных в голос все кричат про нее.

– А я так думаю, Марфа Петровна, что пустое это болтают, – обрезала Татьяна Власьевна, – как тогда про ребят наших наврали тоже. Как Гордей-то Евстратыч был в Нижнем, я сама нарочно сгоняла на Смородинку, ночью туда приехала и все в исправности там нашла... Так и теперь, пустое плетут на Гордея Евстратыча...

Такой ответ и удивил, и обидел Марфу Петровну: значит, и она тоже плетет напраслину вместе с другими. Полное лицо Марфы Петровны покрылось багровыми пятнами, но она вовремя спохватилась, что Татьяна Власьевна просто глаза отводит и говорит только для одной видимости.

– Я ведь и сама то же самое думаю, – заговорила Марфа Петровна, переходя в другой тон. – И раньше я вам говорила... Все это Савины да Колобовы придумывают.

К зиме работа заметно убавилась, и половина старателей была рассчитана начисто, но Михалко и Архип по-прежнему оставались на прииске. Гордей Евстратыч и слышать ничего не хотел о том, чтобы дать ребятам отдохнуть. «Молоды еще отдыхать-то, – говорил он на все доводы Татьяны Власьевны, – пусть в свою долю поработают, а там увидим». Татьяна Власьева решительно не знала, чем объяснить себе такое упрямство. А Гордей Евстратыч что-то держал на уме, потому что совсем забросил прииск, куда заглядывал какой-нибудь раз в неделю; он теперь редко бывал дома, а все водил компанию с разными приезжими господами, которым Татьяна Власьева давно и счет потеряла. Какие-то, господь их знает, шаромыжники не шаромыжники, а в том же роде, хотя Гордей Евстратыч и говорит, что это и есть самая настоящая компания и все эти господа всё нужный народ. Для чего они были нужны – Татьяна Власьева не могла дать ума, потому что этаковой-то бросовый народ какие такие дела мог делать... А тут еще приехала из своего Верхотурья модница Алена Евстратьевна и опять пошла все крутить да мутить: так братцем и поворачивает, как хорошим болваном. Конечно, насчет моды Алена Евстратьевна, можно сказать, все произошла и могла поставить брагинский дом на настоящую точку, как в других богатых домах все делается, но, с другой стороны, Татьяна Власьева не могла никак простить дочери, что по ее милости расстроилась свадьба Ньюши и произошло изгнание Зотушки.

– Вот теперь и полюбуйся... – корила свою модницу Татьяна Власьева, – на кого стала наша-то Ньюша похожа? Бродит по дому, как омморошная... Отец-то шубку вон какую привез из Нижнего, а она и поглядеть-то на нее не хочет. Тоже вот Зотушка... Хорошо это нам глядеть на него, как он из милости по чужим людям проживается? Стыдобушка нашей головушке, а чья это работа? Все твоя, Аленушка...

– Ничего, мамочка. Все дело поправим. Что за беда, что девка задумываться стала! Жениха просит, и только. Найдем, не беспокойся. Не чета Алешке-то Пазухину... У меня есть уж один на примете. А что относительно Зотушки, так это даже лучше, что он догадался уйти от вас. В прежней-то темноте будет жить, мамынька, а в богатом доме как показать этакое чучело?.. Вам, обнаковенно, Зотушка сын, а другим-то он дурак не дурак, а сроду так. Только один срам от него и выходит братцу Гордею Евстратычу.

– Нехорошие ты слова, Аленушка, выговариваешь, чтобы после не покаяться... Все под Богом ходим. Может, Зотушка-то еще лучше нас проживет за свою простоту да за кротость. Вот ужо Господь-то смирит вас с братцем-то Гордеем за вашу гордость.

– Ах, мамаша, ничего вы не понимаете!.. – заканчивала обыкновенно модница такие разговоры. – Нельзя же по-прежнему жить без всякого понятия...

Татьяна Власьева заметила, что в последнее время между Гордеем Евстратычем и Аленой Евстратьевной завелись какие-то особенные дела. Они часто о чем-то разговаривали между собой потихоньку и сейчас умолкали, когда в комнату входила Татьяна Власьева. Это задело старуху, потому что чего им было скрывать от родной матери. Не чужая ведь, не мачеха какая-нибудь. Несколько раз Татьяна Власьева пробовала было попытать модницу, но та была догадлива и все увертывалась.

«Ох, недаром наша Алена Евстратьевна вертится, как береста на огне», – думала про себя старуха.

И Гордей Евстратыч все ходит как-то сам не свой, такой вдумчивый да пасмурный. Вообще после Нижегородской он сильно изменился и все делал как-то беспокойно и торопливо, точно чего боялся. И лицо у Гордея Евстратыча стало совсем другое: в нем не было прежнего спокойствия, а в глазах светилась какая-то недосказанная тревога. Часто в разговоре он даже заговаривался, то есть отвечал невпопад или спрашивал что-нибудь непутевое, совсем не к месту. «Ужо надо с отцом Крискентом посоветоваться, – решила Татьяна Власьева, – больно неладно с отцом-то у нас... Может, это он от этих новых знакомых, а может, оттого, что водки начал принимать в себя даже очень предовольно». Отец Крискент с своей обычной

благожелательностью и благовниманием выслушал все сомнения Татьяны Власьевны и глубокомысленно ответил:

– Да, да... Помните, я говорил вам тогда, Татьяна Власьевна: богатство – это испытание. Оно испытание и выходит...

– Уж я, право, отец Крискент, даже не рада этой нашей жилке; все у нас от нее навыворот пошло... Со всеми рассорились, не знаю за что; в дому сумление.

– Я вам говорил... да, говорил, – сочувственно повторял о. Крискент, покачивая своей головкой. – Нужно претерпевать, Татьяна Власьевна.

В вящее подтверждение своих слов о. Крискент с необыкновенной быстротой расстегнул и застегнул все пуговицы своего подрясника.

– Легкое место вымолвить, отец Крискент, как от нас все старые-то знакомые отшатились! Савины, Колобовы, Пятов, Пазухины... И чего, кажется, делить? Будто Гордей-то Евстратыч действительно немножко погордился перед сватовьями, ну, с этого и пошло... А теперь сваты-то слышать об нас не хотят.

– Да, да... – лепетал о. Крискент, разыгрывая мелодию на своих пуговицах. – А меня-то вы забыли, Татьяна Власьевна? Помните, как Нил-то Поликарпыч тогда восстал на меня... Ведь я ему духовный отец, а он как отвесит мне про деревянных попов. А ежели разобрать, так из-за кого я такое поношение должен был претерпеть? Да... Я говорю, что богатство – испытание. Ваше-то золото и меня достало, а я претерпел и вперед всегда готов претерпеть.

– Ох, верно, отец Крискент... Вам все это зачтется, все зачтется...

– А я о себе никогда не забочусь, Татьяна Власьевна, много ли мне нужно? А вот когда дело коснется о благопопечении над своими духовными чадами – я тогда неутомим, я... Теперь взять хотя ваше дело. Я часто думаю о вашей семье и сердечно сокрушаюсь вашими невзгодами. Теперь вот вас беспокоит душевное состояние вашего сына, который подпал под влияние некоторых несоответствующих людей и, между прочим, под влияние Алены Евстратыевны.

– Задумывается он все, отец Крискент... А о чем ему думать? Слава богу, всего, кажется, вдоволь, и только жить да радоваться нужно... Конечно, обнесли напраслиной внучков моих, про Гордея Евстратыча болтают разное, совсем неподобное...

– Неподобное?

– Да... Даже рассказывать совестно.

– Ах да, слышал, слышал... Сие все отрыгнуто завистью и человеконенавистничеством, Татьяна Власьевна.

Руки о. Крискента усиленно забегали по пуговицам, и его маленькое лицо озарилось торжествующей улыбкой: ему пришла великолепная мысль.

– Знаете что, Татьяна Власьевна? – заговорил о. Крискент с подобающей торжественностью. – Не отчаивайтесь. У меня блеснула благая мысль. Ведь Гордея Евстратыча смущает теперь враг рода человеческого своими тайными внушениями. От этого и его беспокойство, и страх, и тревожное состояние души. Мы сделаем так, чтобы он отогнал от себя злого духа работой на Бога... Да? Помните, как я тогда предполагал сделать Гордея Евстратыча старостой? Вот мы сие и dokonчим... Нужно нам церковь достраивать, а делателя нет. Гордей Евстратыч достаточно высказал ревности к Божию домостроительству и не откажется продолжать начатое. А когда будет стараться для Бога, враг человеческий и отступится от него. Конечно, многие восстанут на меня, но я готов претерпеть всегда.

– Непременно восстанут, отец Крискент: и Савины, и Пазухины, и Колобовы...

– Я сие предвижу и не устрашаюсь, поелику этим самым устроим два благих дела: достроим церковь и спасем Гордея Евстратыча от злого духа... Первым делом я отправлюсь к Нилу Поликарпычу и объясню ему все. Трехлетие как раз кончается, и по уставу нам приходится выбирать нового старосту – вот и случай отменный. Конечно, Колобов у нас числится кандидатом в старосты, но он уже в преклонных летах и, вероятно, уступит.

Мысль была великолепная и совпадала с планами о. Крискента. Он очень подробно развил ее перед Татьяной Власьевной, стараясь показать, что им отнюдь не руководят какие-нибудь корыстные побуждения.

– Гордей Евстратыч собирается себе дом строить, – рассказывала Татьяна Власьевна, – да все еще ждет, как жилка пойдет. Сначала-то он старый-то, в котором теперь живем, хотел поправить, только подумал-подумал и оставил. Не поправить его по-настоящему, отец Крискент. Да и то сказать, ведь сыновья женатые, детки у них; того и гляди, тесно покажется – вот он и думает новый домик поставить.

– И отлично... Это даже превосходно, Татьяна Власьевна: одной рукой будет ревновать для Господа, другой для себя. А что у вас Нюша?

– Ох, и не спрашивайте... Высохла девка совсем: не знаем, что с ней и делать. И тоже Алена Евстратьевна все дело испортила...

– Гм... И нельзя поправить?

– Трудно, отец Крискент. Осердились Пазухины-то на нас, очень осердились. Конечно, Нюша еще молода, износит и не такую беду, только все-таки оно жаль, жаль смотреть-то на нее.

Отец Крискент крепко ухватился за свою благую мысль и принялся очень деятельно проводить кандидатуру Брагина в церковные старосты, причем не щадил себя, только бы прилепить Гордея Евстратыча к домостроительству Божию. Он прежде всего переговорил с влиятельными прихожанами и старичками, которые в единоверческих церквах имеют большую силу над всеми церковными делами. Впрочем, эти хлопоты значительно облегчались тем, что общий голос был за Гордея Евстратыча, как великого тысячника, которому будет в охотку поработать Господеви, да и сам по себе Гордей Евстратыч был такой обстоятельный человек, известный всему приходу. Не было забыто ничего: как ревностно посещает всегда Гордей Евстратыч храм Божий, как он умилительно поет на клиросе по двенадцатым праздникам, как истово знает все четьи минеи, и о. Крискент очень политично намекнул кое-кому о тех пожертвованиях от неизвестного, которые появляются в церковных кружках и которые принадлежат не кому другому, конечно, как тому же Гордею Евстратычу. Вообще дело быстро катилось вперед, к своему естественному концу, и о. Крискенту оставалось только переговорить с Колобовыми, Савиными, Пазухиными и самим Нилом Поликарпычем Пятовым. Это была самая щекотливая часть взятой на себя о. Крискентом миссии, хотя он и готов был претерпевать. Даже улегшись на своем жестком монашеском ложе, о. Крискент долго под одеялом то как будто расстегивал, то застегивал тысячи пуговиц, которыми было покрыто все его тело. Собственно, о. Крискент побаивался трех личностей: у Колобовых – самого Самойла Михеича, нравного и крутого на язык старика, у Савиных – самой, то есть Матрены Ильиничны, начетчицы и большой исправщицы, а у Пазухиных – злоязычной Марфы Петровны. Обойти эти дома без внимания не было возможности, потому что народ все был крепкий, кондовый, приверженный благочестию, хотя Колобовы потихоньку и прикержачивали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.